

Валлес Жюль.

Инсургент

2022, источник: [здесь](#). Павшим в 1871 году

Всем жертвам социальной несправедливости, тем, кто с оружием в руках восстал против несовершенного мира и образовал под знаменем Коммуны великую федерацию страданий, – посвящаю эту книгу

Жюль Валлес

Париж, 1885 г.

- [Предисловие \[1\]](#)

- [I](#)

- [II](#)

- [III](#)

- [IV](#)

- [VI](#)

- [VII](#)

- [VIII](#)

- [IX](#)

- [X](#)

- [XI](#)

- [XII](#)

- [XIII](#)

- [XIV](#)

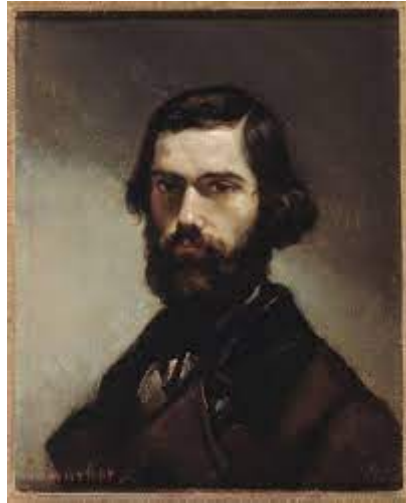
- [XV](#)

- [XVI](#)

Предисловие [1]

“РЕВОЛЮЦИЯ НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ, БОРЬБА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!”

Жюль Валлес.



В 1950 году Объединение французских издателей предприняло переиздание «Инсургента» Жюля Валлеса. Попробуем определить значение этой книги для своего времени, которое сегодня может нам показаться столь отдаленным и безвозвратно ушедшим в прошлое.

Жюль Валлес родился в 1832 и умер в 1885 году. Когда в 1851 году Баденге совершил государственный переворот, ему было двадцать лет. Молодой бакалавр, он живет в Париже и готовится к экзамену на звание учителя. Но уже в это время он выступает против социального строя. Валлес участвует в заговоре молодых республиканцев против кандидата в диктаторы. Отец его, старый преподаватель университета, робкий человек, дорожающий своим местом, упрятал сына в сумасшедший дом. Но заточение длилось недолго. Получив свободу, Жюль Валлес ищет средств к существованию. Найти их было нелегко. На первых порах ему удается получить место преподавателя в коллеже. Но вскоре его оттуда изгоняют, так как он не смог подчиниться дисциплине этого учебного заведения. Он испрашивает себе место в префектуре департамента Сены. Его назначают регистратором в мэрии Вожирар. И вновь ему из-за строптивного нрава вежливо предлагают уйти.

Для Валлеса наступает пора нищенского существования, жизнь богемы, полная превратностей. Он принимает решение стать журналистом. Он пишет и драмы, и романы, и стихи, и статьи, которые отдает в редакцию тогдашних газет и журналов, таких, как «Фигаро» и «Эвенеман». Он обращается за поддержкой к Жирардену и Вильмессану. Он пишет на самые разнообразные темы. В «Фигаро» он ведет отдел биржевой хроники. Биржу он изучил по книге «Деньги». Свои статьи Валлес подписывает: «Литератор, ставший биржевиком». В них мы читаем, что биржа властвует над Францией и что это хорошо,

ибо лихорадка биржевых спекуляций обеспечивает успех промышленности и добродетель – прежде всего дочь благосостояния.

Однако в периодических изданиях, где он сотрудничает, он вскоре отказывается от идей, которые проводил в своих биржевых хрониках. Он помещает свои статьи в газетах, неподвластных правительству империи, таких, как «Ревю Эропеен», «Либерте», «Пресс» и «Эпок». Вскоре он снискал себе известность яркого независимого писателя. Его считают острым, боевым, оригинальным и, несомненно, талантливым публицистом. Но, влекомый своей мятежной натурой, он вел тяжелую и беспокойную жизнь бедняка, богемы и отверженного. Он познал голод, убогие мансарды и всяческие унижения со стороны должностных лиц. Валлес отдается романтическому воспеванию пестрой жизни социальных низов. Сам он принадлежит к их числу. Он повествует о мечтах и невзгодах отвергнутых артистов, отрешенных от должности учителей, изобретателей-неудачников, о горькой участи тех, кто скитается по кабакам и лачугам, ночует под мостом или в заброшенных каменоломнях. Человек большой души, Валлес оплакивает судьбу этих проклятых жертв.

В 1867 году Валлес основывает газету, в которой продолжает выступать в защиту обездоленных, выброшенных обществом людей. В этой газете он безжалостно и открыто нападает на все общественные институты, на освященную государством политику, литературу, искусство, на тех, кого он называет «жрецами литературы, политики, даже революции!»

«Общедоступная и увлекательная газета «Улица» обрушивается на Гюго, на его пьесу «Эрнани», на музыку Россини, на Гонкуров, на правительство. Но после выхода 34-го номера на газету был наложен запрет, и она прекратила свое существование.

В 1869 году Валлес выставляет свою кандидатуру в депутаты от 8-го избирательного округа департамента Сены против кандидата бонапартиста и кандидата республиканца Жюля Симона. Валлес выступает как «кандидат от нищеты». «Сплачивайтесь вокруг меня, в ненависти к порабощению, против солдат, шпииков, священников, сборщиков налогов, чиновников! Вспомните о своих былых поражениях!» – обратился он к избирателям.

Валлес получил 780 голосов против 30 тысяч. После военной неудачи в августе 1870 года правительство прячет его в тюрьму Мазас, но вскоре, захлестнутое дальнейшими событиями, оно его выпускает на волю. В дни Коммуны Валлес входит в секцию Интернационала. 31 декабря он во главе батальона национальной гвардии. Он начинает выпускать боевую газету «Крик народа», которая вскоре становится главным печатным органом Коммуны. В своих статьях он поднимает дух сопротивляющихся коммунаров, пробуждая в них отчаянную энергию. Когда к 16 мая все уже кажется безнадежным, Валлес заявляет, что приняты все меры, чтобы ни один версальский солдат не вошел в Париж. «Париж готов на все, но только не к сдаче». Что касается Валлеса, то сам он дерется до последнего часа. Он в рядах последних бойцов баррикад XI округа. Дважды версальцы объявляли, что он расстрелян, но, преследуемый ими, он бежал после тех драматических событий, о которых он вспоминает в «Инсургенте».

Жюль Валлес оказывается в Бельгии, затем в Швейцарии, потом в Лондоне – в городе, где он обосновывается вплоть до 1880 года, когда пробил наконец час амнистии. В Англии он живет бедно, изредка публикуя статьи и художественные произведения в немногочисленных республиканских органах парижской прессы.

Вернувшись в Париж, он вместе со Стефаном Пишо и Камиллом Пеллетаном сотрудничает в «Жюстис» Клемансо.

В 1882 году в прогрессивном журнале «Нувель Ревю» Жюль Валлес печатает «Инсургента». Он с гневом пишет в «Ревей» о Гамбетте, который предал своих избирателей.

В 1883 году он возобновляет издание газеты «Крик народа», которая становится главной революционной газетой Франции. К сотрудничеству в газете он привлекает социалистов всех школ, публицистов всех направлений, вплоть до анархистов.

«Крик народа» принимает участие во всех выступлениях социалистов на этом этапе рабочего движения нашей страны. В частности, газета резко выступает против колониальных захватов в Тунисе и Тонкине. Она поддерживает мощные забастовки шахтеров Анзена и Декавилля. Напомним, что участие в газете Жюля Гада придало ее замечательным выступлениям особую силу. Главная заслуга Жюля Валлеса состояла в том, что он предоставил Геду ведущее место в своей газете. Можно сказать, что сотрудничество гедистов способствовало тому, что «Крик народа» стал таким влиятельным органом рабочего класса Франции, которого до того времени у него не было.

Умер Валлес сравнительно молодым (ему было 52 года), через два года после основания газеты «Крик народа».

Трудовой Париж устроил ему торжественные похороны. Свыше ста тысяч тружеников провожали на кладбище Пер-Лашез «кандидата нищеты», «депутата расстрелянных».

Так народ Парижа выразил заслуженную признательность человеку большого сердца, искреннему другу рабочих, славному бойцу Коммуны, большому революционному писателю.

В 1950 году не найдется коммуниста, который не присоединился бы к этим волнующим проявлениям благодарности. Справедливости ради надо сказать, что в современную эпоху социальная революция требует от своих борцов, своих инсургентов знания теории, овладения методом, выработки стратегии, наличия организаций – всего того, что, увы, не доставало лучшим представителям старшего поколения, тем коммунарам, которые с готовностью шли на любые жертвы.

Жюль Валлес гордился тем, что он непокорный одиночка, готовый на любые жертвы, противник всякой теории, всякой организации, всякой дисциплины.

Он был непокорным бунтарем-одиночкой. Он считал себя свободным солдатом «без номера на фуражке». «Не говорите мне, – писал он, – о коллективизме, анархизме, о всяких теориях. Не говорите мне о гуманных и всечеловеческих концепциях Маркса... К чему неясные доктрины? Я не хочу располагаться бивуаком, когда передо мной простирается поле

революционных битв. Я не хочу ходить в жизни под номером».

«Инсургент» запечатлел начало, неудачную попытку, определенный исторический момент, когда народ восстал против угнетателей. Этот исторический момент не преходящ.

Советский народ, продолжая дело Коммуны, показал революционерам XX века, каким глубоко научным методом современные инсургенты должны овладеть, чтобы привести пролетариат к победе. Этот новый метод позволил им взять реванш за поражение Коммуны. Отныне в мире многомиллионные массы сплоченного пролетариата готовят окончательную победу, которую не удалось одержать нашим отцам – героям 1871 года.

Марсель Кашен

А ведь правы были, пожалуй, красные колпаки и черные пятки[3] из Одеона, утверждая, что я жалкий трус!

Вот уже несколько недель, как я занимаю должность классного надзирателя в лицее и не испытываю ни горя, ни печали. Я не возмущаюсь, и мне ничуть не стыдно.

И напрасно я ругал когда-то школьные бобы. Здесь они, по-видимому, гораздо вкуснее, – я уничтожаю их в огромном количестве и дочиستا вылизываю тарелку.

А на днях, среди глубокого молчания столовой, я даже крикнул, как, бывало, у Ришфё:

– Человек, еще порцию!

Все обернулись и засмеялись.

Смеялся и я. Постепенно я начинаю приобретать безразличие прикованного к тачке каторжника, цинизм арестанта, примирившегося со своим острогом... Еще немного – и я потоплю свое сердце в полуштофе здешней кислятины, полюблю свое корыто...

Я так долго голодал! Так часто туго-натуго стягивал ремнем живот, желая заглушить рычащий в нем голод: так часто тер его без всякого проблеска надежды на обед, что теперь с наслаждением медведя, забравшегося в виноградник, размягчаю горячими соусами свои пересохшие кишки.

Это почти так же приятно, как зуд заживающей раны.

Как бы то ни было, у меня уже не прежние впалые глаза, лицо утратило зеленоватый оттенок, и в бороде моей часто можно найти застрявшие кусочки яйца.

Прежде я не расчесывал своей бороды; я лишь дергал и теребил ее при мысли о своем бессилии и о своей нищете.

А теперь я ее хожу, слежу за ней... так же, как и за своей шевелюрой. А в прошлое воскресенье, стоя перед зеркалом без рубашки, я с удивлением и не без гордости заметил, что у меня отрастает брюшко.

У отца моего было больше мужества. Я помню, какой ненавистью сверкали его глаза в пору его учительства, – а ведь он не разыгрывал из себя революционера, не жил в эпоху

восстаний, не призывал к оружию, не проходил школы мятежей и дуэлей.

А я прошел через все это – и вот угомонился, обретая в этом лице покой богадельни, обеспеченное пристанище, больничный паек.

Один старый фарейролец, участник Ватерлоо, рассказывал нам однажды, как он в вечер битвы, проходя мимо кабачка, в двух шагах от Ге-Сента, бросил ружье и, повалившись на стол, отказался идти дальше.

Полковник назвал его трусом.

«Пусть я трус! Для меня нет больше ни бога, ни императора... Я голоден и изнываю от жажды!»

И он черпал жизнь в буфете этой харчевни, неподалеку от груды наваленных трупов, и никогда, по его словам, он не ел с большим аппетитом, никогда мясо не казалось ему таким вкусным, вино – таким освежающим. Наевшись, он положил под голову походный мешок, растянулся на земле, и вскоре его храп смешался с ревом пушек.

Мой дух засыпает вдали от битв и шума. Воспоминания прошлого звучат в моей душе, как дробь барабана в ушах дезертира: все тише и тише, по мере того как он удаляется.

Что удивительного? – Скитаться в течение целого ряда лет по мебелирашкам; довольствоваться любой дырой для ночлега, да еще залезать в нее только глубокой ночью из страха перед бессонницей и хозяйкой; нуждаться больше, чем кто-либо другой, в деревенском воздухе, а дышать миазмами крытых свинцом мансард; обладать аппетитом и зубами волка и быть вечно голодным – и вдруг... в одно прекрасное утро очутиться с едой, с чистой скатертью, постелью без клопов, пробуждением без кредиторов...

Дикий Вентра перестал неистовствовать; он сидит, уткнувшись носом в тарелку, у него своя салфетка с кольцом и прекрасный мельхиоровый прибор.

Он даже, наравне с другими, читает Benedicite[4], и с таким смиренным видом, что приводит в умиление начальство.

Покончив с едой, он возносит благодарение богу (конечно, по-латыни), засовывает руку за спину и распускает пряжку жилета; затем расстегивает одну пуговицу спереди и снова запахивает редингот, доставшийся ему по наследству и неуклюже пригнанный на его рост. Потом, с набитым желудком и жирными губами, направляется во главе вверенного ему класса к широкому двору «для старших», возвышающемуся над окрестностью, подобно террасе феодального замка.

Здесь в известные часы дня небо кажется мне покрывалом из тонкого шелка, и ветерок, точно легкое прикосновение крыльев, щекочет мне шею.

Никогда не наслаждался я такой безмятежностью и покоем.

Вечер

Маленькая комнатка в конце дортуара, где классные надзиратели в свободное время могут читать или предаваться мечтам, выходит окнами прямо в поле; оно изрезано ручейками, там и сям виднеются купы деревьев.

Ветерок доносит запах моря, который как бы оставляет привкус соли на губах, освежает мои глаза, успокаивает сердце. И оно только слегка трепещет, это сердце, в ответ на призыв моей мысли, – так трепещет занавеска на окне от дуновения ветра.

Я забываю свое ремесло, забываю сорванцов, к которым приставлен... но забываю также и нужду и восстания.

Я не поворачиваю головы в сторону бушующего Парижа, не ищу на горизонте дымного пятна, указывающего на поле битвы. Нет! Там, далеко-далеко, я обнаружил группу ив и цветущий фруктовый сад, и на них я устремляю свой растроганный, кроткий, как никогда, взгляд.

Да, приятели из Одеона правы: «Жалкий трус!»

Выйдя из лица, я сразу же попадаю на спокойные, сонные улицы, а через сто шагов – я уже на берегу ручья. Без мыслей иду вдоль него, лениво поглядывая на листву деревьев или на пучок травы, уносимый течением и борющийся со всякими препятствиями по пути.

В конце дороги – небольшой трактир с гирляндой сушеных яблок вместо вывески. За несколько су я пью здесь золотистый сидр, слегка бьющий в нос.

Да, у меня нет ни стыда, ни совести!

Но у меня не было и удачи...

По счастливой случайности, лицей полон воздуха и света. Это – бывший монастырь, с огромными садами, с широкими окнами. В трапезную проникают солнечные лучи; в открытые окна дортуара доносится шелест листвы и трепет уже тронутой осенью природы, с ее теплыми тонами бронзы и меди.

Я не мог не понравиться ученикам, привыкшим иметь дело или с совсем неопытными, только что соскочившими со школьной скамьи надзирателями, или же со старыми, «заслуженными», еще более глупыми, чем казарменные дядьки.

Они приняли меня вроде как офицера нерегулярной армии, случайно призванного после смерти отца, старого служаки с нашивками; к тому же меня окружал ореол парижанина. Этого было вполне достаточно, чтобы юные узники не возненавидели меня.

Коллеги мои тоже нашли меня добрым малым, хотя и слишком скромным. Сами они проводили все свободное время в маленьком кафе, сыром и темном, где до одурения тянули пиво, пили кофе с коньяком и посасывали трубки.

Я не пью и не курю.

Весь свой досуг я провожу в пустом классе, у камина, с книжкой в руках или же на уроках философии с тетрадкой на коленях.

Преподавателю – он зять самого ректора – лестно видеть на своих уроках чернобородого парижанина с независимым видом, который, точно школьник, сидит на скамье и слушает лекцию о душевных способностях. Эти «способности» сыграли уже со мной штуку, когда я держал на бакалавра; не хватало еще, чтобы они подвели меня на следующем лицензиатском экзамене. Мне необходимо наконец знать, сколько их насчитывается в Кальвадосе: шесть, семь, восемь... больше или меньше!

И я прилежно посещаю уроки, чтобы быть в курсе местной философии.

15 октября

Сегодня начало занятий на словесном отделении; вступительную лекцию прочтет профессор истории.

Да я же знаю его, этого профессора!

Будучи студентом третьего курса Нормальной школы, он преподавал нам в лицее Бонапарта риторику как раз в ту пору, когда я изучал ее.

Это было в 1849 году, – и, я помню, у него срывались тогда смелые, революционные фразы. Я даже вспоминаю, что он приходил в кафе вместе с Анатоли[5] (он был знаком с его старшим братом) и что однажды, услышав, как я за соседним столиком разносил Беранже, он повернул голову в мою сторону.

Фамилия моя, конечно, тут же улетучилась из его памяти, но он запомнил мое лицо. Случай этот он тоже не забыл, и, когда я после лекции подошел к нему, он сразу узнал меня.

- Ну, что поделяетесь? Я слышал, что вас не то сослали, не то убили на дуэли...

Я признался ему, что приспособился к обстановке, примирился со своей участью, доволен дисциплиной и что меня вполне удовлетворяет эта жизнь, - пробочник для сидра в одной руке, ложка - в другой, глаза устремлены на тихую гладь реки...

- Черт возьми! - проговорил он тоном врача, услышавшего о дурных симптомах. - Заходите ко мне, потолкуем. Я буду рад отдохнуть хоть немного от всех этих глупцов и ничтожеств.

И он жестом указал на директора и на группу своих коллег.

И это говорит преподаватель, пользующийся милостями всего начальства!

Зачем только я его встретил!

Я жил спокойно, чудесно отдыхал; он снова взбудоражил меня, и, когда в воскресенье я расстегиваю за десертом пряжку и уваливаю от волнующих разговоров, он тормозит меня:

- Надеюсь, вы не собираетесь обратиться в буржуа и разжиреть. Уж лучше я предпочту выслушать от вас еще несколько оскорблений за мой июньский крест[6].

Я действительно в первое же мое посещение наговорил ему много оскорбительного по поводу его ордена и хотел сразу же уйти.

Он удержал меня.

«Мне было тогда всего двадцать лет... я оказался в толпе учеников нашей Нормальной школы... Не уясняя себе значения этого восстания, я стал на сторону Кавеньяка[7], считая его республиканцем, и первым вошел на площадь Пантеона, где забаррикадировались блузники. Мне поручили сообщить об этом в Палате, и там мне нацепили эту ленточку. Но, клянусь вам, я никого не убил, а нескольким повстанцам даже спас жизнь, рискуя своей собственной. Оставайтесь!.. Вы хорошо знаете, что человек может измениться, поскольку сами признались, что и вы уже не тот...»

Он протянул мне руку, я пожал ее, и мы стали друзьями.

Я заслужил также расположение одного из его коллег, седовласого папаши Машара. Пережив свою славу в Париже, он похоронил себя в провинции.

- Который из вас Вентра? - спросил он, обращаясь к репетиторам, собравшимся на вторую годовую конференцию.

Я отделился от группы.

- Откуда вы? Где получили образование?.. В Париже? Держу пари, что вы что-то окончили!

И он заставил меня прочесть вслух мою конкурсную работу.

- Да вы - писатель, сударь! - неожиданно выпалил он и, уходя, заставил меня проводить его до дверей своего дома. Дорогой я рассказал ему свою историю.

- Так, так! - сказал он, покачав головой. - Если б это зависело только от господина Лансена и от меня, то вы уже в августе были бы лицензиатом. Но удержитесь ли вы до тех пор? Оставит ли вас директор? Вы производите впечатление независимого человека, а ему нужны лакеи...

- Я уж и так стараюсь быть незаметным, приспособиться... Я решил пойти на унижения...

- Возможно, что вы и стараетесь, но ведь сразу видно, что вы собой представляете, и все эти ничтожества понимают ваше презрение к ним.

Старый учитель был прав. Не к чему мне было прикидываться смиренным, отращивать брюшко и читать Benedicite.

Факультетские святоши, директор и священник лицея решили выжить меня. Моя жесткая борода, мой открытый взгляд, стук моих каблуков - при всей легкости шагов - оскорбляют их бритые подбородки, бегающие глаза, их шаркающую походку.

Меня нельзя было обвинить в небрежном отношении к обязанностям или в пьянстве, и вот эти иезуиты придумали другое.

Они решили организовать заговор против меня, но так, чтобы он шел снизу.

Полночь

Дортуар, где я при свече корпел над своей работой, стал местом засады заговорщиков.

Уже само это здание монастырского типа располагало к бунту. Некогда каждый монах имел здесь отдельную открытую сверху келью. Теперь их занимают ученики. И так как внутренность этих «боксов» не видна, то надзиратель, хотя и слышит шум, не может подсмотреть, что делается за перегородками.

Однажды вечером в этих деревянных стенах вспыхнул бунт: стук в перегородки, свист, хрюканье, крики, и такие забавные, что, право, мне самому захотелось принять участие в этом концерте.

И я тоже начал стучать, свистеть, хрюкать и кричать пронзительным фальцетом:

«Долой надзирателя!»

За все время моего пребывания здесь я впервые почувствовал, что живу.

Стоя в одной рубашке посреди комнаты, я стучу подсвечником в ночной горшок, хрюкаю, кричу петухом и не перестаю визжать: «Долой надзирателя!»

Дверь отворяется... Входит директор.

Он так и остолбенел, увидев меня в раздувающейся сорочке, босиком, с горшком в одной руке и подсвечником в другой.

– Вы... вы... разве не слышите? – растерянно пробормотал он.

– ???

– Не слышите бунта?.. Криков?..

– Крики?.. Бунт?..

Я протер глаза и прикинулся удивленным и сконфуженным... Он прекрасно понял, в чем дело, и ушел, побелев, как фаянс горшка. Больше уж не будет восстания в дортуаре: нечего опасаться.

Я снова улегся, огорченный, что кончилась эта кутерьма.

Мне стало ясно, что я влип. Но, прежде чем меня выгонят, я потешусь над ними.

Случай скоро представился.

Заболел учитель риторики. Как правило, отсутствующего по той или иной причине преподавателя заменяет классный надзиратель.

Так что сегодня вечером мне придется вести урок, взойти на кафедру.

И вот я там.

Ученики ждут с волнением, порождаемым всякой новинкой. Как выпутаюсь я из этой истории, – я, прекрасный оратор, любимец профессуры, «парижанин»?

Я начинаю:

«Милостивые государи!

Случаю угодно, чтобы я заменил вашего почтенного учителя господина Жако. Но я позволяю себе не разделять его взгляда на систему преподавания.

Я держусь того мнения, что не следует ничего изучать, ничего из того, что вам предписывает учебное ведомство. (Движение в центре). Я полагаю, что принесу вам гораздо больше пользы, посоветовав играть в домино, в шахматы, в экарте. Тем, кто помоложе, разрешается насаживать мух на бумажку. (Движение во всем зале .)

Соблюдайте тишину, господа! Я продолжаю. При изучении Демосфена или Вергилия вовсе не требуется шевелить мозгами, но зато, когда надо сделать девяносто или пятьсот, объявить шах королю или насадить на булавку муху, да так, чтобы не причинить ей при этом особых страданий, – вот тогда необходима ясность мысли, и все ваше внимание, конечно, должно быть сосредоточено на невинном насекомом, которое, если можно так выразиться, зондируется вашим любопытством. (Сенсация .) Словом, я хотел бы, чтобы время, которое нам еще остается провести вместе, не было потерянным временем».

Картина!

В тот же вечер я получил отставку.



И вот я снова на парижской мостовой с сорока франками в кармане, и не в ладах со всеми учебными заведениями Франции и... Наварры.

Куда направить свои стопы?

Я уже не тот, что прежде, – восемь месяцев провинциальной жизни преобразили меня.

Целых десять лет я жил, как пьяница, который боится похмелья и на другой день после попойки, едва продрав глаза, тянется дрожащей рукой к припасенной заранее бутылке.

Я опьянялся собственным красноречием и чаще всего растрачивал свое мужество по пустякам.

Даже те, кого я, скрывая свои муки, одаривал весельем, чтобы отвлечь их от их горестей, – даже они не поняли меня и не только не были мне благодарны, но считали меня глупым и жестоким. Тупые, презренные люди... им невдомек было, что под иронией я прятал страданье, как прячут язву под фальшивым носом; что тревога грызла мне сердце, когда резкой шуткой я старался заглушить нашу общую скорбь, – так вышибаешь ударом кулака стекло в душевной комнате, чтобы дать доступ свежему воздуху.

Стоило мне устраиваться!

Чего успел я добиться с тех пор, как вернулся из провинции?.. Я и сам не знаю. Я вел здесь такую же растительную жизнь, как и там, с той только разницей, что не наслаждался более готовым кормом и свежей подстилкой для спанья.

Неужели я доберусь до могилы, так и не выбившись из мрака, постоянно обороняясь от жизни, без единой битвы при ярком солнечном свете?

Ну что ж! Пусть они кричат об измене, если им угодно!

Я постараюсь продать мои восемь часов в день, чтобы вместе с куском хлеба обеспечить себе и ясность ума.

В конце концов и Арну[8], – а я считаю его порядочным человеком, – тоже сделался чиновником. Мне сказала об этом на днях при встрече Лизетта.

Мое прошение должно быть подкреплено рекомендациями... Придется нарушить еще одну клятву!

Все равно!

Приняв должность надзирателя коллежа, я уже тем самым стал клятвopреступником, и я снова буду им, выклянчивая подписи людей, пытавшихся уничтожить нас Второго декабря[9].

Несчастный! Вместо того чтобы завоевать себе место в жизни, я только потерял почву под ногами, зато нашел у себя несколько седых волос.

Готово! – Один гвардейский генерал, один книготорговец из Тюильри да бывший директор школы, где преподавал мой отец, дали мне рекомендации, по две строчки каждый.

Этого оказалось вполне достаточно, и вот я назначен регистратором на сто франков в месяц в мэрию, которая находится где-то у черта на куличках и имеет довольно жалкий вид.

Прихожу туда, поднимаюсь по лестницам и спрашиваю начальника канцелярии.

Меня принимает сутуловатый человек в очках.

– Хорошо. Вы будете вести запись новорожденных.

Он ведет меня в отдел актов гражданского состояния и передает какому-то чиновнику. Тот осматривает меня с ног до головы, знаком приглашает сесть и спрашивает, хорошо ли я пишу (!!).

– Не особенно.

– Покажите.

Я макаю перо в чернильницу, но погружаю его слишком глубоко и, вытаскивая, сажаю огромную кляксу на странице большой реестровой книги, лежащей перед этим человеком.

Он в диком отчаянии.

– Прямо на имя!.. Придется делать ссылку!

Он кидается к окну, высовывается наружу и, делая какие-то знаки, кричит.

Что такое? Он зовет на помощь? Чувствует приступ удушья? Или, быть может, хочет приказать арестовать меня?

Кто ему отвечает? Доктор? Полицейский комиссар?

Ни тот и ни другой. Это угольщик, виноторговец и акушерка. Пять минут спустя все они врываются в канцелярию и испуганно спрашивают, что случилось.

- А то, что вот этот господин начал свою службу с того, что измазал мою книгу, и теперь вам всем нужно будет расписаться на полях, чтобы ребенок сохранил свое звание.

Он в бешенстве повертывается ко мне.

- Вы слышите? Зва-ни-е! Знаете ли вы по крайней мере, что это такое?

- Да, я изучал право.

- Сомнительно! - говорит он, усмехаясь. - Все они одинаковы... Бакалавры - это гибель для реестров!

Раздается писк, стук грубых башмаков - и снова акушерка, угольщик и виноторговец.

Мой коллега ставит меня прямо перед лицом опасности.

- Опросите заявительницу.

Как взяться за дело? Что нужно говорить?

- Сударыня... вы по поводу ребенка?

Чиновник пожимает плечами и всем своим видом выражает безнадежность.

- А за каким чертом, по-вашему, ей было приходиться сюда? Не сможете ли вы хотя бы констатировать... Удостоверить пол...

Удостоверить пол!.. Но как?..

Чиновник поправил очки и с изумлением уставился на меня, как бы спрашивая, не отстал ли я в развитии, или уж настолько наивен, что даже не знаю, как отличить мальчика от девочки.

Жестами даю ему понять, что знаю это прекрасно.

Он облегченно вздыхает и обращается к акушерке:

- Разверните ребенка. А вы, сударь, смотрите. Да подойдите поближе, оттуда вам ничего не видно!

- Это мальчик.

- Еще бы! - замечает с гордостью отец, подмигивая угольщику.

И вот я – кормилица или что-то вроде того.

Из вежливости мне приходится иногда помочь развязать тесемки, вынуть булавки, распеленать младенца и пощекотать ему шейку, когда он слишком раскричится.

К счастью, в пансионе Антетара я приобрел «навык», и скоро я прославился на весь район своей расторопностью, как некогда своим умением заправлять детские рубашонки. Честь мне и слава!..

Мои коллеги не блещут умом, но они неплохие люди. В них нет той закваски желчи и недовольства, что бродит в учительской среде, вечно завистливой, трусливой, шпионящей друг за другом.

Они не дают мне слишком сильно почувствовать мое ничтожество; мой коллега хмурился и брюзжал каких-нибудь два дня, не больше.

– Чему вас только учили в коллеже? Латыни? Но ведь она нужна лишь на то, чтобы служить мессу. Лучше научитесь делать нажим, тонкие и толстые штрихи букв.

И он показывает мне, как нужно делать хвостики готических букв и закругления, когда пишешь рондо. Мы даже остаемся иногда после окончания занятий, чтобы совершенствоваться в английском почерке, который дается мне с большим трудом.

Однажды через окно меня увидел старый товарищ, республиканец.

– Было время, ты устраивал восстания, а теперь выводишь прописные буквы!

Да! Но, покончив с прописными буквами, я свободен, – свободен до следующего дня.

Вечер в моем распоряжении, – мечта всей моей жизни! – а если встать пораньше, в одно время с рабочими, так можно еще два часа поработать со свежей головой, прежде чем идти удостоверять пол новорожденных.

Я распеленываю их, но и сам я тоже вышел из пеленок и смогу доказать всякому, кто усомнится, что я – мужчина.

Похороны Мюрже [10]

Я отпросился, чтобы пойти на похороны Мюрже.

Хочу посмотреть на знаменитостей, которые сбегутся толпой, хочу послушать, что скажут на его могиле.

Похныкали, вот и все.

Говорили о любовнице и о собачке, которых покойный очень любил. Вплетали розы в воспоминания о нем, бросали цветы в яму, кропили гроб святой водой, – он верил в бога или был вынужден делать вид, что верит.

Процессию замыкал взвод солдат с ружьями, провожающий обычно тех, кто был награжден орденом Почетного легиона.

Покойный имел крест; это все равно, что медаль слепого, благотворительная контрамарка. Кавалеру ордена Почетного легиона не дадут подохнуть с голоду; если ему не повезет, – ему достаточно подвязать красной ленточкой свою славу, как подвязывают лошадиный хвост.

Задумчивым вернулся я домой и вдруг почувствовал, что все во мне содрогается от гнева. Но потребовалась еще целая неделя, прежде чем я понял, что шевельнулось во мне тогда. Теперь я знаю.

Это – моя книга, дочь моих страданий, шевельнулась у меня под сердцем, когда я стоял у гроба представителя богемы, которого после безрадостной жизни и мучительной агонии хоронили с большой помпой и прославляли на кладбище.

Так за работу же! Вы увидите, на что способен я, когда голод не разрывает моих внутренностей, точно рука деревенской повитухи, которая своими грязными ногтями пытается вырвать из чрева плод.

Я уцелел и напишу историю тех, кто погиб, – несчастных, так и не нашедших себе места в жизни.

И я буду считать, что достиг цели, если этой книгой посею возмущение так, что никто не заметит и не заподозрит, что под лохмотьями, которые я развешу, как в тюремном морге[11], скрыто оружие для тех, кто сохранил еще гнев в душе, кого не победила нищета.

Они выдумали мирную и трусливую богему, а я покажу им ее отчаявшейся и грозной.



Мрачно и уныло в моей тридцатифранковой комнатухе с «видом» на узкий, как кишка, двор, где над кучей мусора торчит голубятня. Оттуда доносится непрерывное, раздражающее меня воркование.

Я только и слышу, что эту надоедливую музыку да рыдания женщины, занимающей рядом со мной темный чуланчик, за который она никак не может заплатить хозяйке. И она все плачет, эта седая учительница... Она нигде не может устроиться и напрасно ищет уроков по десять су.

Несчастливая! Как-то вечером я видел, как она за ту же цену предлагала свои старушечьи ласки служителям госпиталя Валь-де-Грас и приоткрывала кофточку, чтобы дать потрогать свою грудь.

Я хотел бы выбраться отсюда: мне кажется, что проникающий сквозь перегородку воздух отравляет мою мысль.

Но я вынужден остаться и даже не помышлять о перемене квартиры, иначе пропадут деньги, внесенные за две недели. Я регламентировал свою жизнь, – моя расходная книга здесь, рядом с книгой воспоминаний, – и бюджет мой незыблем. Мне остается только склониться над бумагой и заткнуть уши ватой, чтобы не слышать горьких всхлипываний старой учительницы и нежного воркования горлинок.

Одна из них часто прилетает на окно моей соседки за хлебом, крошащимися руками этой несчастной, – руками, сохранившими еще запах потных ласк санитаров...

В коллеже голубь был для нас птицей, которая олицетворяет собой наслаждение и гордо восседает на плече богини или поэта. Здесь же он охорашивается под окном потаскушки и точит свой клюв о ее окно. *Gemuere palumbae*[12].

Я встаю в шесть часов утра, укутываю ноги остатками своего пальто, – с пола несет холодом, – и пишу до момента ухода в мэрию.

С пяти часов я снова за работой, но не позже как до восьми. Мне страшно оставаться вечером в этой конуре на улице Сен-Жак, недалеко от перекрестка, где прежде действовала гильотина, поблизости от военного госпиталя, почти рядом с приютом для глухонемых. Поистине невеселое окружение!

«Зато, став у окна, ты можешь видеть Пантеон, где будешь покоиться, если станешь знаменитостью», – насмешливо заметил Арну, пришедший как-то навестить меня.

Я не думаю о Пантеоне, не мечтаю стать знаменитостью, не стремлюсь к бессмертию после смерти, – я хочу жить, пока я жив!

Мне как будто начинает удаваться это, но мой жизненный путь еще достаточно непригляден и печален.

Соседка моя обнаглела. Она напивается, приводит к себе мужчин, и они пьют вместе с ней.

Как-то раз один из этих пьяниц отказался заплатить и хотел избить ее; она стала звать на помощь.

Я прибежал и отдернул руку пьяницы, – он уже схватил нож, лежащий на тарелке с сыром, и собирался всадить его женщине в живот. Я вытолкал его за дверь и запер ее за ним. Больше четверти часа он ломился в нее, крича: «Выходи, каналья!»

Учительницу, конечно, выгнали, хотя, как сказала с некоторым сожалением хозяйка: «Она хорошо платила последние две недели». Теперь одни только голуби милуются и оставляют следы перед моим окном, не находя больше крошек на окне соседки.

Работа моя, однако, почти не подвигается: в комнате у меня стужа, а чтобы разжечь кучу каменного угля, приходится тратить много времени. Стуча зубами, я жгу спичку за спичкой, и, если наконец отваживаюсь сесть за стол, так и не растопив камина, мало-помалу дрожь охватывает меня с ног до головы и мысли улетучиваются.

После долгих раздумий я отправился в библиотеку св. Женевьевы поискать в книгах указаний на способы растопки, избавившие бы меня по утрам от длительного стояния босиком, в одной рубашке, перед камином, полным дыма, а не огня.

Но я сел на мель, а между тем дует северный ветер. Вот уже больше недели, как я не работаю, – разве только делаю заметки карандашом, чуть-чуть высунув пальцы из-под одеяла.

Я было попробовал писать в библиотеке. Но если дома я страдал от холода, то там изнывал от жары. В этой удушливой, влажной атмосфере мои мысли размягчаются и обесцвечиваются, как кусок мяса в кипящем котелке, и я начинаю дремать, склонившись над чистым листом бумаги. Сторож бесцеремонно будит меня.

Неужели я не одолею моей книги до весны?

Так нет же, нет! Лучше оказаться несостоятельным должником...

Я только что вышел из магазина Дюламон и К°, где за меня поручился бывший коллега моего отца, обучающий детей латыни.

Мы заключили сделку на халат из монастырского драпа, длинный, с капюшоном и шнуром. Мне вручат его через неделю при уплате половины его стоимости; вторая половина должна быть внесена в конце следующего месяца. Всего: шестьдесят франков.

До получения халата я слоняюсь, ничего не делаю.

Наконец он готов.

- Получите ваши тридцать франков!

Посыльный сует их в карман и исчезает, а я немедленно облачаюсь в мою шерстяную рясу.

Ты, мастер, скроивший ее, и ты, купец, продавший мне ее, вы даже не подозреваете, что вы сделали! Вы дали будку часовому армии – той армии, что вам еще покажет себя!

Если б не эта хламида, я, быть может, отступил бы перед черной пастью нетопленного камина, сбежал из моей ледяной конуры, махнул на все рукой – не написал бы своей книги.

Срок платежа приближается. Он назначен на тридцатое, а сегодня уже двадцать второе.

Воспользовавшись тем, что было воскресенье и не нужно было идти в мэрию, я решил закончить работу и переписать ее.

Скорей! Перечитываю еще раз... Ножницы, булавки!.. Вычеркнуть здесь, прибавить там!

Я исчеркал всю рукопись. Отдельные отрывки напоминали черные повязки на глазу или синяки на теле. Я обрезался ножницами, искололся булавками. Капельки крови забрызгали страницы. Эту рукопись положительно можно было принять за воспоминания какого-то убийцы-тряпичника.

Но ведь купец не станет ждать. Он явится ко мне в мэрию, предъявит мою расписку, поднимет шум, и меня уволят. Я теперь чиновник и должен относиться с уважением к своей подписи, дабы не компрометировать правительство; ведь не затем платит оно мне 1500 франков в год, чтобы я жил, как нищий.

Три часа. Звонят к вечерне. В доме тишина, – слышен только кашель чахоточного, выплевывающего остатки последнего легкого.

Как ужасно быть безвестным, бедным и одиноким!

Четверть, половина четвертого!

Я закрыл глаза рукой, чтобы не заплакать. Впрочем, нет, теперь не время распускать нюни. А мой долг?

Необходимо попасть к главному редактору «Фигаро», проникнуть к нему в квартиру. В течение недели его невозможно поймать ни в редакции, ни при выходе из нее, да, кроме того, не очень-то охотно выслушивают в таких местах незнакомых людей.

Но примет ли он меня? Ведь сегодня день его отдыха. Говорят, он очень любит своих детей, а потому, естественно, хочет спокойно забавляться с ними и не потерпит, чтобы ему надоедали в его свободное время.

Э, тем хуже!

Как дрожат мои ноги, пока я поднимаюсь по лестнице.

Звоню.

– Могу я видеть господина Вильмессана?[13]

– Его нет. Он уехал за город и вернется не раньше, как недели через две.

Уехал!.. Но тогда я пропал!

Горничная, очевидно, прочла отчаяние на моем лице.

К тому же она видит кончик свернутой трубочкой смятой рукописи, которая словно корчится от мук в глубине моего кармана.

Она не захлопывает у меня перед носом дверь и наконец решается сказать, что вместо Вильмессана дома его зять и что, если я назову себя, она доложит обо мне и даже передаст то, что я принес.

Говоря это, она указывает глазами на мою рукопись, скрепленную булавками, торчащими, как иглы у ежа. Я вытаскиваю сверток и подаю его так, чтобы она не укололась. Горничная сочувственно улыбается и уходит, держа сверток в вытянутой руке.

Меня оставляют одного по крайней мере на четверть часа. Наконец дверь открывается.

– А ваша рукопись здорово кусается, сударь, – говорит лысый толстяк, потряхивая толстыми, как сосиски, пальцами.

Я бормочу извинения.

– Ничего! Я видел заглавие, прочитал несколько строчек, – публику это тоже укусит! Мы напечатаем ваш очерк, молодой человек! Но придется немного подождать, – это чертовски длинно!

Подождать? Право же, я никак не могу ждать.

– Я должен завтра же, – объясняю я ему, – уплатить карточный долг, вот почему я и осмелился прийти прямо сюда...

– Э, э! Так вы заигрываете с дамой пик? Прикупаете к пяти?

Я понятия не имею, что значит «прикупать к пяти», но надо же что-нибудь ответить, и я глухо изрекаю:

– Да, милостивый государь, прикупаю к пяти!

– Черт возьми! Ну, и аппетит у вас!

Огромный. Я часто замечал это, особенно в те дни, когда приходилось голодать.

– Вот записка к кассиру. Предъявите ее завтра, и вам выдадут сто франков. Это – высокая цена, но ваша статья с огоньком. До свидания!

С огоньком?.. Очень может быть!

Я не старался, чтобы, как это учат в Сорбонне, то, что я писал, походило на труды Паскаля или Мармонтеля, Ювенала или Поля-Луи Курье, Сен-Симона или Сент-Бёва; я не церемонился с образными выражениями, не боялся неологизмов, не соблюдал несторианского порядка, приводя доказательства.

Я взял куски моей жизни и сшил их с кусками жизни других людей. Смеялся, когда мне было смешно, скрежетал зубами, когда воспоминания об унижениях точно соскабливали мясо с моих костей... так соскабливают мякоть с косточки отбивной котлеты, и кровь тихо сочится из-под ножа.

Зато я спас честь целого батальона молодых людей, прочитавших «Сцены из жизни богемы» и поверивших в это розовое беспечное существование. Я громко бросил правду в лицо этим жертвам обмана.

И если они все-таки захотят отведать этой жизни, значит они только на то и годны, чтобы быть завсегдатаями кабаков да дичью для Мазаса. К тридцати годам, доведенные до отчаяния, они кончат жизнь самоубийством или безумием, попадут в лапы больничной сиделки или тюремного сторожа и либо умрут раньше времени, либо в свое время покروют

себя позором.

Я не стану их жалеть! Разве не сорвал я бинты со своих ран, чтобы показать им, какие опустошения производят в человеческой душе десять лет потерянной молодости!

IV

Сейчас мода на публичные лекции: Бовалле[14] прочтет «Эрнани» в Казино-Каде.

Торжественное заседание! Great attraction![15] Это своего рода протест против империи в честь поэта, написавшего «Возмездие»[16] *.

Но, как и в цирке, здесь нужен еще артист рангом пониже, клоун или обезьянка, один из тех, что появляются на арене после главного номера, когда публика уже одевается и разъезжается.

Мне предложили роль этой обезьянки – я согласился.

В какой обруч буду я прыгать? Выбираю и предлагаю тему: «Бальзак и его творчество».

Истории Растиньяка, Сешара и Рюбампре крепко засели у меня в мозгу. «Человеческая комедия» является часто драмой жизни: здесь хлеб и одежда, взятые в кредит или в рассрочку, и муки голода, и страх перед взысканием по векселю. Не может быть, чтобы я не нашел захватывающих слов, говоря об этих героях, – моих братьях по честолюбию и страданиям!

День представления настал, – имена знаменитости и обезьянки красуются в программе рядом.

Народу будет много. Придут стариканы 48-го года, чтобы обрушиться на Бонапарта, как только они почуют в каком-нибудь полустушии республиканский намек. Будет присутствовать и вся молодая оппозиция: журналисты, адвокаты, «синие чулки», которые своими подвязками удушили бы императора, попадись только он в их розовые коготки, и которые вырядятся для битвы в свои праздничные шляпки.

Но уже издали я вижу, как перед входом в Гранд-Ор്യен толпится публика вокруг человека, наклеивающего на афишу свежую полосу.

Что случилось?

Оказывается, чтение драмы Гюго запрещено, и организаторы извещают, что «Эрнани» будет заменен «Сидом».

Многие уходят, пробормотав пренебрежительно три слога моего имени и фамилии... ничего им не говорящих.

– Жак Вентра?

– Не знаю такого.

Никто не знает меня, кроме нескольких журналистов, завсегдаев нашего кафе. Они пришли нарочно и остаются, чтобы посмотреть, как я выпутаюсь, рассчитывая на то, что я провалюсь или учиню скандал.

Пока там читают александрийские стихи «Сида», я захожу в ближайшую пивную.

– Твоя очередь! Сейчас тебе выступать!

Я едва успеваю взбежать по лестнице.

– Вам! Вам!

Пересекаю зал, – и я на эстраде.

Не торопясь, кладу шляпу на стул, бросаю пальто на рояль позади себя, медленно снимаю перчатки и с торжественностью колдуна, гадающего на кофейной гуще, мешаю ложечкой сахарную воду в стакане. А затем начинаю, ничуть не смущаясь, как если б я разглагольствовал в молочной:

– Милостивые государыни и милостивые государи!

.....

Заметив в аудитории дружественные лица, я гляжу на них, обращаюсь к ним, и слова льются сами собой; мой громкий голос разносит их по всему залу.

После Второго декабря я впервые выступаю публично. В то утро я взбирался на скамьи и тумбы, говорил с толпой, призывал ее к оружию, обращался с речами к неизвестным мне людям, которые проходили, не останавливаясь.

Сегодня, одетый в черную пару, я стою перед разряженными выскочками, воображающими, что они совершили акт величайшей смелости, придя сюда послушать чтение стихов.

Поймут ли они меня, да и станут ли слушать?

Эти пуритане ненавидят Наполеона, но они не жалуют и тех, от чьих слов несет больше порохом Июньских дней, чем порохом государственного переворота. Седоусые весталки республиканской традиции, все они – подобно Робеспьеру и его подражателям, их предкам, – являются строгими Бридуазонами[17] классического образца.

Присутствующие здесь и читавшие меня раньше педанты в белых галстуках совершенно сбиты с толку моими беспорядочными нападками, направленными не столько на бюст

Баденге[18], сколько на все гнусное современное общество. Негодное, оно бросает одни лишь свинцовые пули на борозды, где корчатся в муках и умирают от голода бедняки, – кроты, которым плуг обрезал лапы. И они даже не могут разорвать мрак своей жизни одиноким криком отчаяния!

Но не отчаяние, а скорее презрение переполняет сейчас мое сердце и зажигает фразы, которые я и сам нахожу красноречивыми. Я чувствую, как они сверкают и разят среди всеобщего молчания.

Но они не пропитаны ненавистью.

Я не бью тревогу, я зову к атаке! Я дерзок и насмешлив, как барабанщик, ускользнувший от ужасов осады и очутившийся на свободе. Он смеется над неприятелем, плюет на приказы офицера, и на устав, и на дисциплину, бросает в канаву форменную фуражку, срывает нашивки и с увлечением балаклавских музыкантов бьет зорю иронии.

Честное слово, воспользовавшись случаем, я, кажется, выскажу им все, что душит меня!

Я забываю мертвого Бальзака и говорю о живых, забываю даже нападать на империю и размахиваю перед этими буржуа не только красным, но и черным знаменем[19].

Я чувствую, как взлетает моя мысль, легкие расширяются, я дышу наконец полной грудью, трепещу от гордости и испытываю почти чувственное наслаждение во время своей речи. Мне кажется, что сегодня впервые свободны мои жесты и что, насыщенные моей искренностью, они захватывают всех этих людей, которые тянутся ко мне с полуоткрытыми губами, впиваясь в меня напряженным взглядом.

Я держу их всех в своих руках и обращаюсь с ними по воле вдохновения.

Почему они не возмущаются?

Да потому, что я сохранил все свое хладнокровие и, чтобы расшевелить их мозги, действовал оружием, замаскированным наподобие кинжала греческих трагедий. Я забросал их латынью, говорил с ними языком «великого века», и эти идиоты позволили мне высмеивать свою религию и принципы потому лишь, что я воспользовался для этого языком, чтимым их риторикой, языком, на котором разглагольствуют адвокаты и профессора гуманитарных наук. Между двумя периодами в духе Вильмена[20] я вставляю резкое и жестокое словцо бунтаря и не даю им времени опомниться.

Некоторых из них я просто терроризирую.

Только что колкой фразой я вскрыл, точно ржавым ножом, один из их предрассудков. Я увидел, как целая семья возмутилась и раскричалась, как отец стал искать свое пальто, а дочь – поправлять шаль. Тогда я сурово поглядел в их сторону и грозным взглядом пригвоздил их к скамье. Испуганные, они снова уселись, а я чуть не прыснул со смеху.

Но пора кончать. Мне остается сказать заключительное слово, и я быстро разделяюсь с ним.

Стрелка обошла свой круг... Предоставленный мне час кончился, – жизнь начинается!

В течение суток обо мне говорили в редакциях нескольких газет и в кафе на бульварах. Этих суток вполне достаточно, если я действительно чего-нибудь да стою. Я вышел из неизвестности, освободился из тисков.

Славный все-таки выдался денек! Я смыл слюной своего красноречия весь шлак последних лет, подобно тому, как кровь Пупара[21] смыла грязь нашей юности.

Этот случай мог бы никогда мне не представиться. И, уж конечно, он ускользнул бы от меня, останься я на том берегу и не посещай я кафе, куда ходили несколько честолюбивых писак.

Но то, что я обедал за этим табльдотом и выпивал иногда, а опьянев, говорил увлекательно и смело; то, что, освободившись от убийственной и нудной работы, я мог проводить время с этими бездельниками, – помогло мне выйти из неизвестности и получить возможность действовать.

Иногда приходилось, конечно, разменять луидор на угощение, но... он бывал у меня теперь в дни получки жалованья.

Как благословляю я тебя, моя скромная должность в 1500 франков! Ты позволяла мне тратить по десять франков в первые дни месяца и по три франка в остальные; ты придавала мне вид добропорядочности и в силу этого доставляла уроки по сто су за час, между тем как до того мне платили по пятидесяти сантимов за точно такие же.

Эта ничтожная должность спасла меня, и только благодаря ей я завтракаю сегодня утром.

Ведь моя лекция не принесла мне ни одного су. Директор щедро расплатился со мной натурой: вчера вечером он угостил меня хорошим обедом.

Но сегодня мой карман пуст: я не был бы беднее, если б меня освистали. Мои перчатки, ботинки, парадная рубашка стоили мне больших денег. Как-то я поужинаю сегодня?

К девяти часам в кишках у меня начало отчаянно урчать. Я отправился в Европейское кафе , где мои товарищи пользуются кредитом, и остановил свой выбор на «баваруазе», потому что к нему полагается булочка.

На другой день я, по обыкновению, отправился в мэрию. Чиновники, увидев меня, высыпали на порог канцелярии.

– В чем дело?

– Господин Вентра, вас требует мэр.

Действительно, уже из коридора, через полуоткрытую дверь зала для венчаний, я увидел, что мэр ждет меня.

Он пригласил меня к себе в кабинет.

– Вы, конечно, догадываетесь, сударь, зачем я вас позвал?

– ?

– Нет?.. Так вот. В воскресенье вы произнесли в казино речь, являющуюся подлинным оскорблением правительства. Так по крайней мере выразился окружной инспектор в своем рапорте префекту. Я со своей стороны должен выразить вам мое удивление по поводу того, что вы компрометируете учреждение, во главе которого стою я, и свое положение, пусть незначительное само по себе, но являющееся для вас, по вашим же собственным словам, единственным средством к существованию. Я должен официально предупредить вас, что впредь вам будут воспрещены публичные выступления, и просить вас подать в отставку.

Не выступать публично – это куда ни шло. В конце концов удар нанесен, и за мной еще даже останется слава преследуемого правительством человека.

Но подать в отставку! потерять мою скромную должность! При этой мысли у меня мороз пробегает по коже. Все газетные статьи, сулящие мне славное будущее, не стоят тарелки супа. А я привык за последнее время к супу, и мне трудно будет выдержать больше одного дня без пищи.

И все-таки нужно было уходить... Я побледнел, пожимая на прощанье руку этому славному человеку, и с грустью оставил мэрию.

Что делать?

Я снова брошен в политику. Но теперь мне нечего бояться, что по моей милости отец лишится места. Семья уже не связывает меня больше, – я сам себе хозяин. Весь вопрос в том, есть ли у меня смелость и талант.

Бедняга! Верь в это и пей воду, отвратительную воду, которую ты так долго лакал из выщербленных кружек меблированных комнат, как бродячая собака из лужи. Несмотря на твой вчерашний триумф, эта вода снова станет твоим каждодневным напитком, если ты захочешь остаться свободным человеком.

Ты думал, что уже вылез из трясины?.. Как бы не так!.. Ты вытащил только голову, но сам еще не выкарабкался.

Жалуйся на свою судьбу! Ты был в агонии, и никто не видел твоих страданий, – а теперь все увидят, как ты будешь подыхать!

Жирарден[22] поручил Верморелю[23] передать мне, что хочет видеть меня.

«Пусть придет ко мне в воскресенье».

Я пошел к нему.

Он заставил меня прождать два часа и совсем забыл бы меня в пустой, погруженной в сумерки библиотеке, если б я не открыл дверь и, поднявшись по лестнице, не ворвался, нарушая приказ, в кабинет, где он отчитывал трех или четырех субъектов; они стояли, опустив головы, и оправдывались, как школьники перед учителем.

Едва извинившись, он продолжал кричать, как на лакеев, на этих людей, хотя у одного или двоих из них были уже седые волосы. А меня он выпроводил одной короткой фразой:

– Я принимаю по утрам в семь часов; если вам угодно – завтра.

Он кивнул головой, вот и все.

Я не ожидал такого сухого приема. Но еще меньше мог предполагать, что мне придется быть свидетелем столь грубого обращения с сотрудниками газеты...

6 часов утра

Мне потребовалось три четверти часа, чтобы добраться до ворот его особняка. Пересекаю двор, поднимаюсь на крыльцо, толкаю большую застекленную дверь и останавливаюсь в затруднении, как если бы очутился на незнакомой улице. Слуги, позевывая, открывают окна, вытряхивают ковры. Я их прошу передать камердинеру Жану, чтобы он доложил обо

мне.

И вот я наконец перед ним.

Что за мертвенно-бледная физиономия! Точно маска зловещего Пьерро!

Бескровное лицо престарелой кокетки или старообразного ребенка, и на этой бледной эмали резко выделяются блестящие, холодные глаза.

Настоящая голова скелета, которому озорник студент вставил в глазные впадины две блестящих жестянки и затем, облачив его в халат, похожий на сутану, усадил перед письменным столом, заваленным различными вырезками и раскрытыми ножницами.

Никто бы не поверил, что в халате – человек!

А между тем в этом шерстяном мешке запрятан один из лучших эквилибристов века – весь из нервов и когтей, человек этот в течение тридцати лет всюду совал свой нос, на все накладывал свою лапу. Но, подобно кошке, он неподвижен, пока не учует подле себя добычи, которую можно было бы схватить и исцарапать.

Так вот каков он, этот человек, будораживший умы своими мыслями, которые он бросал каждый день в те времена, когда каждый вечер вспыхивало восстание! Это он схватил Кавеньяка за генеральские погоны и сбросил его с лошади, ринувшейся на Июньские баррикады. Он убил эту славу, как убил уже одного республиканца на знаменитой дуэли[24].

Но ни под его кожей, ни на его руках не видно уж больше следов крови – ни его собственной, ни чужой.

Впрочем, нет, это не голова мертвеца! Это – ледяной шар, на котором нож нацарапал и выскоблил подобие человеческого лица, начертав на нем своим предательским острием эгоизм и отвращение к миру, – чувства, оставившие на этом лице пятна и тени, подобные тем, какие оставляет оттепель на белизне снега.

Эта маска – олицетворение бледности и холода.

Его сплин проник мне в душу, его лед – в мою кровь!..

Я вышел весь дрожа. На улице мне показалось, что вены мои побледнели под смуглой кожей, углы губ опустились и что я смотрю на небо бесцветными глазами.

Впрочем, в моем лице к нему явился неискушенный бедняк. Я заметил, что он сразу угадал это, и почувствовал, что он уже презирает меня.

Я пришел попросить у него указания, совета и, если возможно, предоставить мне местечко на страницах его газеты, где я мог бы высказывать свои мысли и продолжать, с пером в руке, свою боевую лекцию.

Что же он сказал?

Он покончил со мной лаконическим телеграфным языком, двумя ледяными словами:

– Беспорядочно! Нескладно!

На все мои вопросы, порой довольно настойчивые, он отвечал лишь этим монотонным бормотаньем. Ничего другого я не мог вырвать из его сомкнутых уст.

– Беспорядочно! Нескладно!

Встретив вечером Вермореля, я рассказал ему о своем визите и излил перед ним все свое возмущение.

Но он уже успел повидать Жирардена и резко перебил меня:

– Дорогой мой, он берет к себе только таких людей, из которых может сделать лакеев или министров и которые будут отражать его славу... только таких. Он говорил мне о вашем посещении. Хотите знать, что он сказал о вас? «Ваш Вентра? Бедняга, ему нельзя отказать в таланте, но он просто бешеный и во имя своих идей и ради славы захочет играть только на своей собственной дудке: таратати, таратата! Не воображает ли он, что я посажу его с моими кларнетистами, чтобы он заглушал их посвистывание?»

– Так он и сказал?

– Слово в слово.

Расставшись с Верморелем, я отправился домой и всю ночь вспоминал этот разговор, заставлявший меня трепетать от гордости и... дрожать от страха.

Я не уснул ни на минуту. Утром, когда я вскочил с постели, мое решение было принято. Я оделся, натянул перчатки и направился в особняк Жирардена.

Он снял маску перед Верморелем, – я потребую, чтобы он сбросил ее и передо мной, а если он не пожелает, так я сам сорву ее!

– Да, милостивый государь, вы являетесь жертвой вашей индивидуальности и осуждены жить вне наших газет. Знайте, что политическая пресса не потерпит вас; другие так же, как и я. Нам нужны дисциплинированные люди, годные для тактики и маневров... а вы никогда не сможете принудить себя к этому, никогда!

– А как же мои убеждения?

– Ваши убеждения? Они должны считаться с ходячей риторикой и способами защиты, принятыми в данный момент. У вас же свой собственный язык, и вам не вырвать его, если б вы даже захотели. Ничего не могу сделать, ничего! Я не взял бы вас, если б вы даже заплатили мне за это!

– Ну, хорошо, – сказал я в отчаянии, – я не предлагаю вам больше своих услуг в качестве полемиста с красной кокардой. Я прошу принять меня как обыкновенного литературного сотрудника, дать мне возможность продать вам свой талант... поскольку вы находите, что он у меня есть.

Он взялся рукой за свой выбритый подбородок и покачал головой.

– Не подойдет, уважаемый. Когда вы будете исполнять вариации на темы о лесных цветочках или о милосердных сестричках, все равно из вашей свирели будут вырываться трубные звуки. Даже против вашей воли. А вы знаете, что на империю наводят страх не столько смелые слова, сколько мужественный тон. За вашу статью о пикнике в Роменвилле мою газету прихлопнут точно так же, как за статью другого об управлении Руэра[25].

– Стало быть, я осужден на неизвестность и нищету!

– Пишите книги. Да и то я не уверен, что их напечатают и не подвергнут гонениям. А самое лучшее, постарайтесь получить наследство... или же составьте себе состояние игрой на бирже или в карты, либо... устройте революцию. Выбирайте уж сами!

– Хорошо, я выберу!

VI

– Да вы глупы, как свинья! Ах, дети мои, ну не дурень ли этот Вентра! Полюбуйтесь-ка, он уж и нюни распустил оттого, что не может писать статей о социальной революции для жирарденовского заведения. Так вы говорите, что он не хочет даже ваших лесных цветочков? Ну, так я их возьму: сто франков за букетик, каждую субботу.

Это предложение сделал мне Вильмессан, встретив меня на повороте бульвара и осведомившись о моих делах, причем он толкнул меня своим животом и заявил, что я глуп, как свинья.

– Ах, дети мои, что за дурень этот Вентра!

Час спустя я столкнулся с ним случайно на перекрестке; он все еще кричал:

– Ну и дурень, дети мои!

Нечего скрывать, я хотел посвятить политике свою зарождающуюся известность, броситься в гущу битвы...

Жирарден излечил меня от этой мечты.

Однако я не положился на его мнение, не последовал его советам. Я поднимался и по другим лестницам, но и с них спустился ни с чем. Нигде не нашлось места для моих дерзких фраз.

Но все же между строк моих хроник в «Фигаро» мне удастся просунуть кончик моего знамени, и в субботние букеты я неизменно подсовываю кровавую герань или красную иммортель, прикрывая их розами и гвоздикой.

Я рассказываю о деревне, о ярмарочных балаганах, перебираю воспоминания о родных краях, о любовных драмах скоморохов, но, говоря о босяках и странствующих комедиантах, я заливаю солнцем их лохмотья, заставляю звенеть бубенцы на их костюмах.

Книга

Подсчитываю страницы, и мне кажется, что труд мой закончен. Ребенок, чей первый трепет я почувствовал в себе на похоронах Мюрге, – этот ребенок появился на свет.

Вот он здесь, передо мной. Он смеется, плачет, барахтается среди иронии и слез, – и я надеюсь, что он сумеет пробить себе дорогу.

Но как?

Люди сведущие твердят в один голос, что толстые книги – «кирпич» и что издатели не желают их больше.

Но я все-таки взял под мышку моего младенца и попытался толкнуться с ним в две-три двери. Нам всюду вежливо предлагали убраться...

Наконец где-то у черта на куличках один начинающий издатель отважился пробежать первые страницы.

– По рукам! Через две недели вы получите корректуру, а через два месяца пустим в машину.

Ноздри мои раздуваются, меня распирает от счастья.

«Пустим в машину». Но ведь это все равно, что на баррикаде команда: «Пли!» Это – ружье, просунутое через полуоткрытые ставни.

Книга скоро появится.

Книга вышла[26].

На этот раз я начинаю думать, что кой-чего добился. Теперь над землей виднеется не только моя голова, – я вылез по пояс, до живота, и надеюсь, что никогда уж больше не буду голодать.

Не очень-то, впрочем, рассчитывай на это, Вентра!

А пока что наслаждайся своим успехом, милый человек! Бродяга, вчера еще никому не известный, – сегодня у тебя есть похлебка в котелке, да еще приправленная лавровым листом.

А книжонка быстро пошла! Малютка оказался решительным, и за его здоровье пьют в кафе на бульварах и в мансардах Латинского квартала. Гольтьба узнала одного из своей братии, богема увидела пропасть под ногами. Я спас от постыдной праздности и каторги не одного юношу, спешившего туда по тропинке, которую Мюрже засадил сиренью.

Это чего-нибудь да стоит!

Я и сам мог покатиться по этой дорожке!

При одной мысли об этом меня бросает в дрожь, даже под лучами моей молодой славы...

Моя молодая слава! Я говорю это, чтобы немножко поважничать, но на самом деле не нахожу, чтобы я хоть сколько-нибудь изменился с тех пор, как прочитал в газетах, что появился молодой многообещающий писатель.

Я был больше взволнован во время моей лекции; сильнее потрясен в те дни, когда мне было дано говорить с народом. Там я должен был зажигать трепетавшие рядом со мной сердца; мне стоило только склонить голову, чтобы услышать их биение; я видел, как мои слова зажигали глаза, впивавшиеся в меня то ласкающим, то угрожающим взглядом... Это была почти что борьба с оружием в руках.

А эти газеты, что лежат на моем столе... они, точно мертвые листья, – не трепещут, не кричат.

Где же грохот бури, которую я так люблю?

Временами мне даже становится стыдно за себя, когда критика отмечает и восхваляет меня только как стилиста, не замечая оружия, скрытого, подобно мечу Ахилла на Скиросе[27], под черным кружевом моей фразы.

Я боюсь показаться трусом и отступником перед теми, кто слышал, как я среди моих нищих собратьев обещал вцепиться в горло врагу в тот день, когда вырвусь из грязных лап нужды и мрака неизвестности.

И вот этот самый враг расточает мне сегодня похвалы.

Признаться, меня не столько радовали, сколько смущали поздравления со стороны людей, которых я презирал.

Подлинное удовлетворение, вызвавшее у меня искренние слезы гордости, я испытал лишь тогда, когда в письмах, неведомо откуда присланных и не знаю как дошедших до меня, я нашел заочные рукопожатия безвестных и незнакомых, растерянных новичков, истекающих кровью побежденных.

«Если б я мог прочесть вас раньше!» – скорбел побежденный. «Что было бы со мной, если б я не прочитал вас!» – восклицал новичок.

Стало быть, я все-таки проник в массу, значит есть за мной солдаты, армия! Целыми ночами шагал я по комнате из угла в угол с этими клочками бумаги в судорожно сжатых руках, обдумывая план нападения на гнилое общество с моими корреспондентами в качестве капитанов.

К счастью, я увидел себя в зеркале: осанка трибуна, суровое выражение лица, совсем как на медальоне Давида Анжерского[28].

Только не это, любезный, – остановись! Тебе не к чему копировать жесты монтаньяров, хмурить брови, как якобинцы. Оставайся самим собой – тружеником и бойцом.

Разве не сладко тебе почувствовать ласку со стороны чужих людей, если твои близкие не поняли, измучили тебя?.. Довольствуйся же этой мыслью и признайся, что ты испытываешь радость оттого, что нашел семью, любящую тебя больше, чем любила твоя родная семья; вместо того чтобы издеваться над тобой и высмеивать твои надежды, она протягивает к тебе руки и приветствует, как приветствуют в деревнях старшего в роде, оберегающего честь родового имени и несущего на себе все его бремя.

Да, вот что переполнило мою душу.

Я почувствовал, что некоторые оценили меня, а я очень нуждался в этом. Ведь так тяжело оставаться, – как это было со мной, – насмешливым и мрачным на протяжении всей своей здоровой молодости!

Среди этих писем мне попала записочка от женщины:

«И вас никто не любил, когда вы были так бедны?»

Никто!

VII

В редакции «Фигаро» я встретился с одним журналистом, которого знал когда-то. Еще одна бледная маска, но только с большими ясными глазами, тонкими губами и мраморными зубами; рябая, покрытая рубцами кожа; торчащая, точно железный шпенек волчка, борода, курчавые растрепанные, как клоунский парик, шелковистые волосы, кончики которых их обладатель постоянно тянул, крутил и завивал своими нервными пальцами. Эта странная голова посажена на плечи, напоминающие вешалку, и втиснута в стоячий воротничок, стесняющий ее движения.

Можно подумать, что эту голову сильным ударом приплюснули к затылку и приладили, точно метелку, к спинному хребту, еще более неподвижному и прямому, чем палка половой щетки.

Костлявый, искривленный, угловатый, так что страшно дотронуться, – того и гляди уколешься!

А между тем я видел, как это лицо ласкали крохотные ручонки.

Когда я встретил его в первый раз, он держал на руках маленькую девочку. Она плакала – мать была не то больна, не то в отъезде, – и он изображал мамашу, вытирал ей слезы.

Глядя на них, у меня самого затуманились глаза.

Я помог ему забавлять девчурку, и она скоро успокоилась и принялась дергать отца за волосы, – смешные волосы, вьющиеся пряди которых пружинили под ее крохотными пальчиками.

В то время Рошфор[29] писал водевили совместно с одним старым шутом. С тех пор он далеко пошел вперед.

Он стал обличителем империи. Своим умом, смелостью, клыками, ногтями, своим вихром, бородкой, – всем, что только есть у него острого, царапает он шкуру Бонапартов. И все это с таким видом, будто он только защищается и не думает их трогать: баран, спрятавший свои рога, царевубийца с клоунской шевелюрой, красная республиканская пчела, забравшаяся в императорский улей и убивающая там золотых пчел, рассыпавшихся по зеленому бархату мантии.

Газеты перебивают его друг у друга. Вот только что «Солей» перетянул его из «Фигаро», и «Фигаро» не знает, что предпринять.

- Вентра, хотите на его место? - спрашивает меня в упор Вильмессан.

Наконец-то!

Теперь уж я отплачу! Им недешево обойдется, что они так долго не могли угадать, какая сила таится во мне.

Сколько я хочу?.. Десять тысяч франков? Ну нет! Этот год должен возместить мне все, что я издержал за десять лет моей жизни в болоте нищеты, копаясь в нем своими окоченевшими от холода руками. Предположим, что, в среднем, я проедал 1800 франков в год (о, не больше!), считая с 1 января по день св. Сильвестра. Стало быть, гоните 18 000 монет, и по рукам. Нет, - так не надо!

Подписали.

Вечером я, простофиля, пожалуй, слишком расхвастался выговоренной цифрой.

Но подумайте сами! Я вырвал этот мешок золота пастью, которая, голодая в течение четверти века, отрастила длинные крепкие зубы.

Я мог за это время раз двадцать погибнуть, - сколько других пало рядом со мной!

Но я выжил. В этом буржуа неповинны. «Ощипывая» их сегодня, я еще не произвожу окончательного расчета с ними. Мы еще не расквитались!

Да и притом я не столько горжусь той высокой ценой, по которой котируюсь, как тем, что в моем лице будут отомщены все непокорные.

Мой стиль - это куски и обрывки, как бы подобранные крюком в грязных углах, где разыгрываются душераздирающие драмы. А между тем на него есть спрос, на этот стиль!.. Вот почему я бью своим триумфом тех, кто когда-то хлестал меня своими стофранковыми билетами и плевал на мои су.

Благодарю покорно! Еще нет и недели, как я работаю в «Фигаро», а они уж находят, что с них довольно.

Читатели этой газеты большей частью народ беззаботный, счастливый - актрисы и светские люди. А я не каждый день смешу их.

Вентра изредка - это оригинально, как пирушка у Рампоно, как незатейливый завтрак из черного хлеба с молоком где-нибудь на ферме, как посещение элегантной дамой каморки рабочего, где так вкусно пахнет супом... Но Вентра ежедневно - нет уж, увольте!

Ну, а я не могу, да и не хочу быть бульварным увеселителем.

Я никого не обвиняю. Я отлично видел, когда меня переманивали сюда, что мне придется бороться против «всего Парижа», и отталкивал от себя стопки золота до тех пор, пока не выговорил себе свободу вести кампанию по собственному усмотрению.

Они знали, с кем имели дело.

По-видимому, нет.

Мне остается только убраться. Не для того – с опасностью для своего достоинства и риском для жизни – оставался я самим собой в дни неизвестности, чтобы стать теперь хроникером ателье и будуаров, плести узоры из красивых слов, подслушивать у дверей, гоняться за злобой дня.

– Если бы вы только захотели... при вашем стиле, – говорит Вильмессан, которому очень хочется удержать меня.

Да, черт возьми! У меня нашлись бы подходящие эпитеты как для улицы Бреда, так и для Сен-Антуанского предместья. Я сумел бы рисовать акварелью, писать маслом, создавать офорты.

Если б я захотел... А вот я не хочу! Мы оба ошиблись. Вам нужен забавник, а я – бунтарь. Бунтарем я останусь и снова займу место в рядах бедняков.

И вот я снова беден – снова, как и всегда!

Хотя и было обусловлено, что в случае ухода мне все-таки заплатят, тем не менее пришлось повоевать: дело было не только в материальном благополучии, но и в самолюбии. Все кончилось ерундой: взаимные уступки, несколько тысячефранковых билетов, предложение написать роман...

Я было взялся за него, за этот роман. Но, по-видимому, слишком жива еще во мне отравленная, поруганная юность. Эти страницы, конечно, еще больше, чем мои статьи, показались бы напоенными глухим бешенством, ощетинившимися злобой.

Не к чему мне было вылезать из моей конуры. Что успел я за это время? Я только навлек на себя ненависть моих братьев, которых расхолодила моя бледность Кассия[30].
Потерянное вдохновение!

Но вот что-то зашевелилось в политическом болоте, Оливье[31] кипятится, Жирарден защищает его. За стеклами пенсне, нацепленном на нос бледной маски, что-то сверкнуло, серая рука поднялась и погрозила ареопагу государственных мужей, окружающих императора.

Его газету прикрыли.

Он выпускает когти, напрягает мускулы, прыгает на все четыре лапы.

Он мечется и орет в мешке, куда хотят упрятать его – старого кота!

Его газета прекратила свое существование, но он разыскал какого-то человека, попавшего в затруднительное положение, и тот продал ему свой листок, уступил помещение; он водворился там и приглашает к себе всех желающих кусаться.

Он вспомнил о моих клыках и прислал мне лаконическую записку: «Приходите».

В синем пиджаке, с розой в петлице, он поднялся мне навстречу, с улыбкой протягивая руку.

– Ну, бульдог, мы спустим вас с цепи! Вы будете вести воскресную хронику... И, надеюсь, ваш лай будет слышен далеко? Не так ли?

Он подбирает отвислые губы и мурлычет, расправляя когти.

Я рявкнул – и результатов пришлось ждать недолго.

Жирардену приказали прикончить его собаку. Недолго думая он прислал ко мне своего управляющего, чтобы тот привязал мне камень на шею и утопил меня.

А между тем он отлично мог подождать.

Ибо один вояка взялся отправить меня по-настоящему на тот свет, – вояка с султаном на шапке и тремя золотыми нашивками. Как говорят, он уже отточил шпагу и жаждет отомстить за своего генерала.

Этот генерал – Юсуф[32] – варвар, отдал богу свою жалкую душонку. Во имя невинных, убитых по его приказу, я выл возле его трупа, воссылая благодарность смерти.

И вот его штаб поручил самому искусному фехтовальщику пригвоздить меня, окровавленного, к его гробу.

Так по крайней мере говорят. Это только что сообщил мне Верморель.

– Завтра, а может быть даже сегодня вечером, вас вызовут на дуэль...

– Отлично. Садитесь и слушайте меня. Если красные штаны потребуют у меня удовлетворения от имени этого полковника – они получат это удовлетворение в полной

мере. Вы слышали о моей дуэли с Пупаром? Было условлено стрелять до последней пули и целиться в грудь, сколько угодно. Но Пупар был моим товарищем, а эти солдафоны – мои враги; стало быть, с ними нужно пойти еще дальше. Будет только одна пуля, одна-единственная. Место выберем на этом дворе, если им угодно, или же, если они предпочитают, можно пойти туда, где я сразил Пупара. Дуэль состоится через два часа после их визита, без всякого протокола и переговоров. Хотите быть моим секундантом?

– Черт!..

– Значит, вы согласны. Сейчас, дорогой мой, мы разопьем бутылочку хорошего вина и чокнемся за прекрасный случай, дающий возможность мне, штафирке и отщепенцу, прицелиться в полкового командира.

Вечер теплый, мое жилье далеко от шумных улиц... сумерки и тишина.

Два-три раза по мостовой застучали сапоги. Я думал, что это они ; мне бы хотелось покончить дело разом.

– Теперь уж я приду завтра, – сказал около полуночи Верморель. – Возможно, пароход вышел из Алжира с опозданием. Они могут приехать утром.

Но сегодня, как и вчера, никто не явился.

Можно лопнуть от досады! Запастись мужеством, подготовиться к великолепному концу или к победе, которая увенчает всю жизнь, – и остаться при муках ожидания и унижительной мысли о самоубийстве, внушенной Жирарденом.

Офицер оказался не так глуп, как я думал. Возможно, он даже и не собирался оттачивать свою кривую саблю, узнав, что у меня и так подрезан язык и что как журналист – я мертв.

Действительно, уведомление, помещенное на первой странице жирарденовского листка, указывает на меня как на опасную личность. Никто, конечно, не примет теперь к себе человека, с первого же дня навлекающего грозу на дом, куда он вступает.

Нечего сказать, в хорошее я попал положение: изгнан отовсюду!

Я чувствую себя менее свободным, чем тогда, когда скитался в своих лохмотьях по грязным углам. У меня была по крайней мере независимость человека, который, будучи брошен в подземную тюрьму, может выворотить камень, пробить дыру и, выскочив через нее, наброситься на часового и задушить его.

В этом была моя сила; а теперь мой тайный замысел обнаружен, я открыт. И, как от строптивного каторжника, жупела надзирателей, от меня будут шарахаться и те, кто боится палки, и те, у кого она в руках.

Совсем другое дело, если б я уложил полковника!

- Но, дорогой мой, секунданты могли бы не согласиться на ваши условия, и вы бы еще прослыли трусом.

Очень возможно!

Я живу в мире скептиков и равнодушных. Одни не поверили бы в искренность моего трагического желания, других привело бы в бешенство то, что я впутываю смерть в газетный поединок, и они не постеснялись бы оклеветать меня, лишь бы я не ставил на бульварной дорожке этой кровавой вехи.

К счастью, я достаточно силен, и, если б мои условия были отклонены, я раскрыл бы рожу этому провокатору и таскал бы его за усы до тех пор, пока не собралась толпа.

И я закричал бы сбежавшимся обывателям и сержантам:

«Он хотел заколоть меня, как поросенка, потому что умеет обращаться со шпагой... Я предлагаю ему стрелять в упор, а он трусит. Не мешайте же мне расправиться с ним!»

Может быть, меня велели бы за это прикончить, будто нечаянно, - переломали бы мне втихомолку ребра или хребет по дороге в комиссариат, или же со мной расправились бы в участке, среди безобразий кутузки, где какой-нибудь подставной пьяница затеял бы драку, а ключ тюремщика, якобы разнимающего нас, пробил бы мне грудную клетку.

Ничего этого не случилось.

Хорошо еще, что я ни с кем не поделился этими дошедшими до меня слухами. Если б я только заикнулся о них, приятели, конечно, не замедлили бы воспользоваться этим и стали бы утверждать, что я придумал полковника для того, чтобы сочинить эту беспощадную дуэль.

Какая гнусность!

VIII

Вильмессан продолжает кричать по бульварам:

- Вентра?.. Ну и дурень, дети мои!

Чудак!

Это - тот же Жирарден, но только с большими круглыми глазами, отвислыми, мертвенно-бледными щеками и усами старого служаки; у него брюшко и манеры торговца живым товаром, но он обожает свое ремесло и осыпает золотом своих «продажных свиней».

Он способен уничтожить жестокой шуткой сотрудника, потерпевшего у него неудачу, а минуту спустя он, по его собственному выражению, уже «распускает нюни» над рассказом о бедственном положении какой-нибудь семьи, о болезни ребенка, о злоключениях старика. Он вытряхивает из своего кармана золото и медяки в фартук плачущей вдовы с такой же непринужденностью, с какой расправляется с самолюбием дебютанта или даже старого сотрудника. Он бесцеремонно попирает людскую деликатность, - это такое животное! - но и в ногах у него есть сердце.

Он хочет, чтобы его «крикуны» привлекали публику. Если наемник ему не подходит - он публично дает ему по шапке и спускает вниз головой с лестницы своего балагана. Ему нужны паяцы, которые бы по одному его знаку кувыркались, вывертывали себе члены, прыгали до потолка так, чтобы трещал либо потолок, либо череп...

Я не сержусь на него за его грубости, сдобренные шуткой.

- Эй вы, там, могильщик, я хочу вас спросить кое о чем! Правда ли, говорят, что, когда ваши родители приехали в Париж, чтобы развлечься, вы повели их в морг и на Шан-де-Наве?[33] Правда?.. Ну, тогда к черту! Мне нужны весельчаки! А вы, - да будет вам известно, - ничего не стоите! Нет, в самом деле, какой же вы шутник? О, я хорошо знаю, что заставило бы вас улыбнуться, сударь... Хорошая революция? Не так ли? Если б это зависело только от меня... Но что скажет «мой король»? А ну-ка, отвечайте прямо, без уверток: расстреляют папашу Вильмессана, когда настанет царство святой гильотины?[34]

Думаю, что нет! Как-никак, а он открыл арену для целого поколения, бессильно кусавшего себе кулаки во мраке. На почву, где империя сеяла разъедающую соль проклятий, он бросал пригоршнями соль галльской остроты, - ту соль, что оживляет землю, залечивает ушибы, затягивает раны. Этому увальню Париж обязан возвратом веселья и иронии. Кто он: легитимист, роялист? Полноте! Он просто шутник высшей марки и со своей газетой, стреляющей холостыми зарядами по Тюильри, - первый инсургент империи.

Так же и Жирарден.

Мумия из «Либерте» имеет что-то общее с боровом из «Фигаро». Разбейте лед, сковывающий его маску, и вы увидите, что в гримасе его губ притаилась доброта, а в холодных глазах застыли слезы.

У этого бледнолицего человека нет времени для сентиментов, ему некогда объяснять, почему он презирает человечество, почему имеет право третировать, как лакеев, трусов, позволяющих ему это. Не беспокойтесь, он не оскорбит тех, кого уважает!

Он нанес удар целому вороху моих иллюзий, но этот удар был нанесен открыто.

– Я сделал это потому, что почувствовал в вас мужественного человека, – сказал он мне недавно, на одном вечере, и, взяв при всех под руку, долго разгуливал со мной.

Вдруг он остановился и, пристально глядя на меня, сказал:

– Вы, конечно, думаете, что я презираю бедняков? Нет. Но я нахожу глупым, если человек с головой на плечах начинает разыгрывать непримиримого, прежде чем обеспечит себе независимость хорошими деньгами. Это необходимо! А потом, – заметил он, понизив голос, – с деньгами ведь можно делать добро тайком... Иначе голодные отравят вам жизнь!

По-видимому, этот циник и на самом деле милосерден.

Я даже узнал, что человек, сраженный его пулей[35], может спокойно спать на кладбище Сен-Манде: вдова убитого живет на средства, выдаваемые ей окровавленной рукой дуэлянта, а таинственным опекуном сына является убийца его отца.

В этих двух журналистах нашего века есть что-то от шекспировских героев: один таскает живот Фальстафа, другой предлагает современным Гамлетам голову Йорика для размышлений.

– Обзаведитесь собственной лавочкой, дорогой мой, приобретите свою газету! – не перестает мычать толстяк Вильмессан.

Легко сказать! Но все-таки я попытаюсь.

Я посвятил этому шесть месяцев.

Целых шесть месяцев я только и знал, что заказывал разорительные яства в шикарных ресторанах, где просиживал по несколько часов, подстерегая богачей; так же вот, бывало, во времена Шассена я сидел в ожидании товарища, отправившегося на розыски семи су,

чтобы расплатиться за выпитую в кредит чашку кофе с ромом.

Сколько мелких подлостей, комических унижений...

Я смеялся каламбурам «папенькиных сынков», отъявленных тупиц; складывал губы в улыбку, слушая их «басни», и все потому, что они сулили внести в дело каких-нибудь сто луидоров; я спаивал всяких проходимцев, обещавших свести меня с каким-нибудь богатым наследником или ростовщиком... а они только смеялись надо мной.

Какое счастье, что я родился овернцем!

Другой на моем месте давно устал бы и запросил пощады у врага. А я... я не сдал ни пяди; зато сдали мои подошвы.

За то время, что я не работал, я проел все деньги, оставшиеся у меня от «Фигаро». Залез даже в долги. Наконец я добрался и до последнего стофранкового билета.

Я берегу его. Ем хлеб и пью воду дома, чтобы иметь возможность съесть котлету и выпить чашку чая в кафе, посещаемом капиталистами.

Наконец я вцепился в плюшевый воротник одного еврея и зажег между створками своей двери полы его сюртука.

Я крепко держу его.

Его имя будет стоять в заголовке, он будет числиться директором, получать половину дохода и за это должен выложить две тысячи франков.

Не очень-то далеко уйдешь с двумя тысячами франков!

Но далеко или близко, я хочу скорей покончить с этим.

– Так вы говорите, что обладаете администраторскими способностями?.. А я уверен в себе... Ну что ж, афиши на стену!

Мы расклеили их франков на пятьдесят.

Как ни мало их было, несчастных, но одна из них все-таки бросилась в глаза издателю какой-то газеты, и он начал уверять, что, если б я догадался в свое время обратиться к нему, он принял бы меня с распростертыми объятиями. Лжет.

– Бросьте ваше предприятие, оно все равно погибнет в зародыше. Поступайте лучше ко мне!

– Нет!

Мне хочется хотя бы посмеяться в лицо обществу, на которое я не могу наброситься с кулаками. Пусть даже с риском для жизни!

Ирония так и рвется у меня из ума и сердца.

Я знаю, что борьба бесполезна, заранее признаю себя побежденным, но я хочу потешить себя, потешиться над другими, высказать свое презрение к живым и мертвым.

И я сделал это! Позволил себе полную искренность, излил все свое презрение.

В сотрудники я пригласил первых встречных.

Ко мне явился шестнадцатилетний юноша болезненного вида, с девичьей внешностью. Строение его черепа выдавало в нем мыслящего и решительного малого. Он был точно пожелтевшая на воздухе гипсовая фигурка, подтачиваемая изнутри ядом чахотки. Его направил ко мне Ранк[36].

Битых два часа бродил он перед редакцией, не решаясь войти, пока наконец мать не втолкнула его в дверь и не попросила, как милости, литературной аускультации[37] для своего сына, Гюстава Марото[38].

Вслед за ним пришел Жорж Кавалье[39], длинный, сухой, неуклюжий и смешной, – настоящий Дон-Кихот. Года два назад, встретив его в кафе «Вольтер», я окрестил его Pipe en Bois (Деревянная Дудка) за его сходство с теми ясеневыми дудочками, что так искусно вырезают пастухи. Под этим именем он известен как свистун галерки со времени постановки на сцене Французской Комедии пьесы «Генриетта Марешаль», наделавшей столько шума. Неудачник, но очень неглупый; чудаковатый, веселый и мужественный, с узкой грудью, но с широким сердцем.

Другой – краснолицый, коренастый, с лысым черепом, местами отливающим синевой, как пулярка, начиненная трюфелями, мужиковатый, с проколотыми ушами, с пучком волос под нижней губой. Он водворился у меня, сославшись на покровительство Гонкуров, и повел меня к ним.

Есть у него еще один крестный отец, адвокат Лепер[40], его земляк, депутат в будущем, поэт в прошлом, автор песни «Старый Латинский квартал». Он знает его уже лет десять и очень любит этого малого с синеватым черепом.

– Можете положиться на него, – сказал он, похлопывая того по плечу. – Тяжеловат, но надежен!

И Гюстав Пюиссан стал для моей газеты Роже Бонтаном[41]. Он пишет захватывающие статьи, тщательно изучая и проверяя материал; проникает в природу вещей, выслеживает своих героев и дает вам потрясающие документы.

Есть у меня еще воспитанник Нормальной школы, который плюет на нее.

Все они ведут войну с избитыми фразами и зажигают пожар парадоксов под самым носом у мраморных сипаев, стоящих на страже по музеям; их шутка всегда имеет серьезную мишень и беспрестанно задевает толстый нос Баденге в Тюильри.

Но чтобы болтать о политике, хотя бы и посмеиваясь над ней, необходимо иметь запасный фонд. А нашу бедную «Улицу» каждый месяц конфискуют, запрещают розничную продажу, причиняют нам тысячу неприятностей.

Однажды я написал резкую страничку под названием «Продажные свиньи», направленную якобы против барышников, а на самом деле хлеставшую чиновников и министров, законность и традицию.

Явился судебный исполнитель.

Нас скоро прихлопнут.

Но меня не тронут. Закон обрушивается только на издателя и не намерен казнить виновного, – важно, чтобы было сломано оружие.

Бедный издатель! Кто-то направил его ко мне, и когда он назвал себя, его имя разбудило во мне тяжелые воспоминания, запрятанные с раннего детства в одном из самых исстрадавшихся уголков моей души.

Мне было десять лет; моему отцу, репетитору лицея, разрешили, чтобы я готовил уроки подле него, в классе для взрослых. И вот однажды, когда какой-то ученик вывел из себя господина Вентра, он поднял руку и слегка ударил дерзкого школьника по физиономии.

Брат этого школьника, здоровый сильный юноша, уже с усами, готовившийся в Лесной институт, перепрыгнул через стол и, накинувшись на учителя, в свою очередь, толкнул его и побил.

Я хотел убить этого парня! Я слышал однажды, как эконом говорил, что у него в шкафу есть пистолет. Точно вор, забрался я к нему, обшарил ящики, но ничего не нашел. Попадись мне тогда в руки оружие, мне пришлось бы, возможно, предстать перед судом присяжных.

Директор лицея был возмущен. Перед всей школой были принесены извинения. Отец мой плакал.

Когда в моей памяти случайно воскресала эта сцена, я гнал ее прочь, старался думать о чем-нибудь другом, потому что мне начинало казаться, будто что-то липкое заволакивает мой мозг.

И вот младший брат того, кто оскорбил моего отца[42], вынужден подставить свои щеки под удары правосудия.

На один миг у меня явилось желание выместить на невинном всю свою злобу. Не будь он сед, я вернул бы ему пощечину, отягченную двадцатипятилетней злобой, – я убил бы его.

Но у него добродушный вид, у этого кандидата в издатели. Кроме того, он почти ничего не требует. И вот потому, что брат давшего пощечину предлагает себя по дешевке, – сын получившего эту пощечину забывает оскорбление и заключает с ним сделку. Я не взял бы миллиона за страдания, причиненные мне скандалом, а между тем, чтобы платить на двадцать франков меньше, я ударяю по рукам с этим типом.

Теперь он, в свою очередь, плачет, хотя ему предстоит вовсе не унижение, а скорее почет. Он прослышет «политическим», и те, кто не услышит его стонов и жалоб перед судьями, отнесутся к нему с уважением.

Поверенный газеты, указывая на его несчастный вид, старался вызвать к нему жалость, возбуждавшую смех, и просил снисхождения для бедняги, которому тем не менее присудили шесть месяцев. Он вышел из зала суда, вытирая свой лысый череп и не замечая, что от пролитого потока слез с его клетчатого носового платка уже течет.

– Постарайтесь добиться, чтобы меня не засадили в тюрьму, – просит он среди всхлипываний защитника, и тот обещает ему заняться этим. – Шесть месяцев! Подумайте только, шесть месяцев.

Он выжимает свой платок, а Лорье[43]... смеется за его спиной.

Этот Лорье способен смеяться над любым страданием. И не то, чтобы он был жесток, – нет! Но в его жилах бурлит презрение к человеческому роду, и это презрение кривит и подергивает его тонкие губы. Его физиономия напоминает мордочку грызуна, крысы, – крысы, которую взяли за хвост и окунули в бочку мальвазии. Цвет лица багровый, – он сангвиник!

Под этой хрупкой оболочкой таится мужественная сила, и сквозь мелкие зубы, способные, кажется, разгрызть дерево, вырывается со свистом резкий уверенный голос, точно бурав, сверлящий уши судей.

Он весел, язвителен, даже дерзок. У него на языке не только соль, но и порох; он смешит и внушает страх своей иронией, которая то забавляет, то заставляет обливаться кровью, колет или терзает, как ему вздумается; причем сам он сохраняет полное бесстрашие.

Он – воплощенный скептицизм. Стрелок из любви стрелять и ранить. И он ловко играет своим оружием и своими убеждениями.

Этот маленький человечек без подбородка, без губ, с головой ласки или коноплянки – один из сильнейших умов своего времени, Маккиавелли своей эпохи... Маккиавелли, невзрачный на вид, насмешливый, всюду сующий свой нос, прожигатель жизни, потому что явился после Тортильяра[44], Жана Гиру[45], Калхаса[46] и Жибуайе[47].

Он не напишет «Государя», – этого нечего опасаться, – он пишет сейчас «Трибуна»[48].

Он встретил в суде одного южанина, молодца с черной гривой, хриплым голосом, кривого на один глаз, в нарочито неряшливом костюме. Все вместе взятое придавало ему необычный вид, как бы накладывало на него фабричное клеймо, метку, по которой его легко было узнать. Если б у него было два глаза, Лорье не обратил бы на него внимания; человек – как все, без бельма, без горба, ничем не выделяющийся, никак не подошел бы ему.

.....

Лорье не раздумывает и тянет руку за феноменом. Он выучит этого барана пробивать рогами отверстия, через которые найдут выход его корыстолюбивые желания и лихорадочное любопытство.

Он мог бы сам своими зубами прогрызть себе лазейку, но предпочитает, чтобы за него потрудились другой.

.....

.....

Он учуял свое время.

Сейчас требуется зычный голос, вульгарный жест, приемы площадного оратора, Тереза[49] мужского пола. Уже порядком надоели Шнейдер[50] и Морни[51], Кошоннет и Кадерусс. Буржуазия по горло сыта империей и хочет выказать себя воинственной по отношению к ней, после того как сама же создала ее своей подлостью, убийствами рабочих, ссылками без суда.

Сословная гордость, а также личная заинтересованность заставляют ее сердито смотреть на Бонапарта. Глаза Гамбетты[52] – причем тот, что прикрыт бельмом, в особенности, – бросают гневные взгляды, и в них угрозой горит смертный приговор власти.

.....

Манера Лорье – смеяться на форуме. Он любит жестокие мистификации и наслаждается ролью Барнума с тонким нюхом, чующим, что ветер дует в сторону паясничавших ораторов.

Ведь даже сама вульгарность Гамбетты способствует его популярности, а талант его питается идеями, глубоко банальными по существу. Комедиант до мозга костей, он не знает устали и, облачившись в львиную шкуру, нигде не сбрасывает ее: ни в буржуазном салоне, ни в веселом кафе, ни в подозрительном кабаке – везде и всегда подражает Дантону, даже за столом, даже в постели.

Он где-то вычитал, что Дантон, прежде чем отойти в вечность, заявил, что ему не жаль расставаться с жизнью, так как он вдоволь покутил с пьяницами и погулял с девицами. И вот он пьет, кутит, изображая Гаргантюа и Роклора[53].

Вокруг его кутежей и оргий создается легенда, и Лорье усиленно раздувает ее.

.....

Эта смесь пьяного разгула и ораторского пустословия приводит в восторг молокососов, посещающих лекции Моле, и неудачников из кафе «Мадрид», и они кричат толпе:

– Да! Вот это человек!

Комедиант! Комедиант!

IX

Одна статья в «Улице» вырвала у меня кусок хлеба изо рта. Я изобразил в ней парижских депутатов шутами и будущими палачами.

Отныне все оппозиционные газеты закрыты для меня. Я осмелился задеть их кумиры. Бонапартисты засадили меня в тюрьму, представители трехцветного знамени рады будут уморить меня голодом.

На каждой перекладине парламентской лестницы восседает один из пяти левых петухов[54], которых я пообщипал и высек до крови. Они поклялись в отместку выклевывать мне желудок и сердце.

Мне уж не дадут больше заливаться соловьем в литературе, как не позволят бешено лаять в политике. Я вступил в борьбу, весело скаля зубы. Эти зубы должны вырасти и стать острыми, или придется дать их вырвать, просить пощады и пойти лизать им сапоги.

Когда я писал эти двести строк, мною руководила действительно блестящая идея... А они подвергают меня клевете, обрекают на смерть!

– Но зато они указывают на вас народу! – сказал один старый инсургент, сверкнув глазами и пожимая мне руку. – Держитесь крепко, черт возьми, и, когда вспыхнет революция, предместья призовут вас, а их поставят к стенке. Запомните, что я вам сказал, гражданин!

Держаться крепко! Ах, если б только у меня был верный кусок хлеба, чистая сорочка, крыша над головой, одно блюдо в молочной, – пять франков в день.

Но у меня их нет!

Чтобы заработать на жизнь, придется стряпать новые книги, компилировать старые, вымучивать статьи для составителей словарей, которые, платя десять сантимов за строчку, будут считать себя вправе унижать меня, сколько им вздумается. Они заставят меня часами ожидать в передней, будут покачивать головой, как старьевщик, обесценивающий принесенный ему товар, в особенности если тот, кого они эксплуатируют, потерпел неудачу.

Лучше уж разбивать камни под палящим солнцем!

– Я прислушиваюсь к тебе!.. – крикнул мне как-то Ландрио... Этот Ландрио бросил Нормальную школу, чтобы стать секретарем у одной важной особы из Сорбонны. Но особа отправилась к праотцам, и он остался ни при чем.

Он стал костылем Гюстава Планша[55], но и папаша Планш приказал долго жить!

И вот уже несколько лет, как Ландрио харкает кровью. Задыхаясь от кашля, разбитым голосом он с конвульсивным смехом умирающего Гавроша подстегивает мое честолюбие.

Он все перепробовал в своей жизни, – все, вплоть до попрошайничества.

И не скрывает этого. Он бросает свое признание вместе с остатками легких в лицо обществу, допустившему, чтобы голод изгрыз его грудь, подточил его честь.

Из-за него я даже прослыл негодяем среди людей, которые отделяются одними соболезнованиями и забавляются, когда он изображает сцену попрошайничества.

– Что до меня, – воскликнул я, присутствуя как-то при этом, – так я скорее остановил бы прохожего и закричал ему: «Дай мне на хлеб, или я задушу тебя!»

Они даже за голову схватились.

«А ведь он и в самом деле способен сделать, как говорит».

Да, я скорее предпочел бы напасть на кого-нибудь у лесной опушки, чем попрошайничать у уличного фонаря. Зато я точно так же предпочел бы разбить себе голову о стену или броситься в реку, чем запятнать свою честность. Это орудие я должен сохранить блестящим и острым, как новый клинок

Ландрио снова издевается.

– Твоя чест-ность!!! Да она доведет тебя до могилы, как меня моя чахотка. Только, пожалуй, им придется укокошить тебя: уж очень ты крепок... Но если ты воображаешь, что их словари досыта накормят тебя, и надеешься потягивать через соломинку вино за счет Лашатра или Ларусса, то тебе, сынок, придется бить отбой... Сейчас это еще менее возможно, чем прежде... уж поверь мне! Эти либералишки сжались тесно, как пальцы на ногах, а ты наступаешь своими сапожищами на их изящные ботинки. В карантин тебя! В лазарет!.. Впрочем, у тебя еще есть выход: ты тоже можешь сделаться чахоточным. Тогда они, может быть, сжалятся над тобой и позволят тебе объяснять слова, имеющие отношение к твоей болезни. А накануне твоей агонии они даже дадут тебе прибавку, потому что для описания чахотки тебе достаточно будет приложить к чистой странице твой окровавленный платок на манер того, как старик Апеллес писал бешенство... Знаешь что? Когда не веришь ни в бога, ни в черта, надо идти в попы. По крайней мере будешь есть просфоры! А ты, дурень, сам изображаешь просфору, которую жрут!

К счастью, у меня есть кредит у Лавера, кормильца нескольких беспутных молодцов, вроде меня, и нескольких почтенных старцев, вроде Туссенеля и Консидерана.

– Да нет же, мы ничуть не беспокоимся!.. Вы расплатитесь с нами так же, как это делает господин Курбе[56] у Андлера... когда вам будет угодно. И не стесняйтесь, если вам понадобится добавочное блюдо. Но только когда вы станете чем-нибудь, вы ведь вспомните о нас, не правда ли?

Все, кто попроще, верят, по-видимому, что в один прекрасный день я стану «чем-нибудь», между тем как «образованные» только пожимают плечами, слыша мое имя.

– На кой черт вы занимаетесь политикой? Если бы с вашим талантом вы посвятили себя исключительно литературе, – перед вами открылось бы блестящее будущее. А так, что у вас впереди? Нищета, тюрьма... Вы просто не в своем уме!

– Я первый бегу от вас, – заметил с многозначительной миной портной одного из богатых кварталов, который уже давно шил на меня и которому я платил... когда у меня бывали лишние деньги. – Как! Вы могли стать депутатом, а вместо того накинулись на Пятерку! Я не работаю на баррикадчиков, не шью сюртуков, которые будут пачкаться о блузы!

А мне, словно нарочно, нужен был демисезонный костюм.

К счастью, один еврей, обшивающий в рассрочку моих товарищей, согласился снять с меня мерку и предоставил моему выбору весь свой магазин. Но ему как раз нужно сбыть кусок рубчатого плиса, и он во что бы то ни стало хочет вырядить меня плотником.

Я колеблюсь, вздыхаю. Портной взывает к моим убеждениям. Еще немного, и он сочтет меня ренегатом.

– Как, вы стоите за рабочих и стыдитесь быть одетым, как они! Нельзя быть неблагодарным, молодой человек, – кто знает, что они еще смогут сделать для вас!

И этот тоже!

Кому же довериться: инсургенту, содержателю табльдота или этому Шейлоку?

Кому верить?

Мне нечего верить ни одному из них. При всей моей известности, мне приходится снова влезать в ярмо прежней нужды.

Зато на этот раз, когда раздастся клич «к оружию!» и я появлюсь, – меня узнают и, если я буду одет в лохмотья, – преклонятся перед моей нищетой.

Но ведь в ожидании момента, когда можно будет славно умереть, надо жить... а если б вы знали, как тяжело носить костюм от старьевщика, после того как побывал на пути

благополучия и славы...

Я сам хотел этого.

Почему не опустил я хоть немного своего знамени? Зачем защищал бедняков?

Но в чем была бы заслуга, если б я жил их соками, как паразит!

Х

Тюрьма Сент-Пелажи

Вчера вечером, перед моим отправлением в Сент-Пелажи, мы с товарищами немножко кутнули.

После того как прихлопнули «Улицу», я написал еще две статьи в других газетах. Эти две «проповеди» стоили мне тюрьмы.

Я вошел в нее слегка навеселе!

Там решили, что я болен, и направили ко мне фельдшера.

Я обозлился. Бунтарю – прибегать к помощи медикаментов!..

– Но, сударь, – заметил этот Диафуарус[57], – тут все пичкаются лекарствами. В настоящее время «павильон принцев»[58] находится в моем распоряжении.

Фельдшер – большой шутник. Он сообщил мне много интересных подробностей.

– Политические заключенные делятся на два лагеря: на тех, что ходят, и тех, что не ходят ... вы меня понимаете? Восемьдесят девятый год – еще кое-как, девяносто третий никуда не годится, тысяча восемьсот тридцатый[59] – ни то ни се. Есть здесь бывший ученик Пьера Леру...[60] впрочем, нет, больше я вам ничего не скажу...

А он правильно подметил, этот фельдшер попал в самую точку.

Действительно, 93-й никуда не годится.

Каждое утро мимо меня проходит человек, держа, точно священную чашу, белую, чем-то прикрытую урну. Можно подумать, что он идет служить обедню; но он приотворяет потайную дверь, которая тут же плотно за ним закрывается.

Выходит он оттуда так стремительно, что я совершенно теряюсь и едва успеваю кинуть под салфетку беглый взгляд, чтобы рассмотреть сосуд. Но я не обнаруживаю патриархального брюшка – обычной округлости...

В конце концов мне все-таки удалось приподнять завесу.

Таинственная урна есть не что иное, как сосуд интимного назначения, заgrimированный, чтобы вводить всех в заблуждение, – горшок, принявший вид амфоры. Но он выдает себя... зеленой гуттаперчевой кишкой, убивающей мои последние сомнения. К тому же человек раскрылся передо мной, все показал мне, все рассказал.

– Я ставлю себе одну раз в день вот уже тридцать лет и чувствую себя, как видите, прекрасно.

– Все это так. Но почему вы не поручаете служителю выносить сосуд?

Он выпрямился и гневно уставился на меня.

– Гражданин, в той Республике, которую я хочу, каждый убирает за собой сам. Существуют неприятные работы, как существуют неприятные обязанности.

– Но ведь это же чаша недисциплинированного, кропильница дворянина, – вы поступаете предательски!

– Нет! Я – централизатор по существу и индивидуалист по форме. Пусть у каждого будет патронташ, а уж круглый или овальный – это по выбору.

– А процедура с этой трубкой будет обязательна?

– Не смейтесь, молодой человек, я – ветеран! Вы – новичок и недостаточно еще зрелы, чтобы иметь право взвешивать мои действия.

– Да я и не собираюсь их взвешивать!

Новичок? Недостаточно зрел?.. Недостаточно зрел для такого кальяна, – это верно; и не помешался еще на клистирных трубках, старичок!

Не хочет ли он, чтобы я тоже обзавелся подобным прибором и пользовался им каждое утро по команде, согласно приказу Комитета общественного спасения: «Канониры, к орудиям!»

– Я чист... – повторяет он постоянно.

Еще бы он не был чист после стольких промываний...

– Я твердо стою на своих принципах.

Раз-то в день ему, во всяком случае, приходится присаживаться.

– Наши отцы, эти гиганты...

Что касается моего отца, то он был среднего, скорее даже маленького роста, а деда моего прозвали в деревне Коротышкой. Мои предки не были гигантами.

- Бессмертный Конвент...

- Кучка католиков навыворот!

- Не кощунствуйте!

- А почему бы и нет? Разве я не имею права бросить свой шар, когда ваши боги играют в кегли? Я думал, что вы отстаиваете свободу мыслить, говорить и даже кощунствовать, если бы мне это вздумалось. Быть может, вы прожжете мне язык каленым железом или подвергнете пытке водою, вливая ее в рот вашим орудием... если я не попрошу пощады? Ну нет, этого вы не дождетесь!

Пейра[61] отвечает горькой улыбкой и нахлобучивает на уши шерстяной шлем, вроде тех, что надевают при восхождении на Монблан, - это он-то, уроженец Авентинского холма![62] Ибо он действительно оттуда. Он - настоящий Гракх, этот человек с сосудом, клистирной трубкой и в шапочке с завязками.

Ученику Пьера Леру приходится расплачиваться за своего учителя.

О нем ходит целая легенда.

В каком-то уголке Франции Кантагрель[63] состоял в обществе «Circulus»[64]. Каждому члену вменялось в обязанность во что бы то ни стало поставлять для общего блага свою долю удобрения. Человеколюбие погубило его: он хотел проявить свое усердие, принял какое-то снадобье, и его так пронесло, что ему пришлось возвращаться в Париж, чтобы постараться приостановить действие лекарства.

- Если б хоть кто-нибудь воспользовался этим! - меланхолически замечает он иногда.

Говорят, он написал Гюго по поводу главы о Камбронне[65] в «Отверженных». Гюго ответил ему:

«Брат, есть два идеала: идеал духовный и идеал материальный; стремление души ввысь, падение экскрементов в бездну; нежное щебетанье - вверху, урчание кишок - внизу; и там и здесь - величие. Ваша плодовитость подобна моей. Довольно... поднимитесь, брат!»

- Это я подписался за Гюго и подстроил эту шутку, - признался мне один товарищ по заключению.

Чудаки они все-таки!

Этот сиркюлютен осужден за издание крамольной газетки, как я и предполагал.

Другой – главный редактор республиканской газеты, единственной, которая могла появиться на свет, получить право на жизнь и снискать милость императора. И не то, чтобы издатель ее был льстивым придворным или допустил какую-нибудь подлость, – напротив, он тверд и непреклонен. Но на манер якобинцев; а Наполеон III отлично понимает, что Робеспьер – старший брат Бонапарта и что тот, кто защищает республику во имя власти, является Грибуйлем[66] империи.

К счастью, я могу уединиться.

Я нахожусь в «Пти-Томбо».

Это – узкая мрачная камера в верхнем этаже тюрьмы. Зато, взобравшись на стол, я могу дотянуться до окна, откуда видны верхушки деревьев и широкая полоса голубого неба.

Целыми часами стою я, прижавшись головой к решетке, вдыхаю свежесть ветра и подставляю лоб под солнечные лучи, приходящиеся на мою долю.

Одиночество не пугает меня. Часто я даже гоню от себя и восемьдесят девятый и девяносто третий, чтобы просто остаться наедине с самим собою и прислушаться к своим мыслям, то забившимся где-нибудь здесь, в уголке камеры, то свободно реющим за железной решеткой.

Заключение совсем не рабство для меня, а свобода.

В этой атмосфере уединения и покоя я всецело принадлежу себе.

Клуб

Но этот покой был внезапно нарушен: в тюрьме освободились места, и меня перевели в новую, лучшую камеру; она была переполнена народом, и я ничего не имел против этого. Мое помещение стало салоном, столовой, фехтовальной залой и клубом тюрьмы.

Чего только не вытворяли там!

Первым по части шума и гама был бесподобный папаша Ланглуа[67], бывший соратник Прудона.

– Черт побери!

– Ах, это вы?.. Какая сегодня погода?

- Погода?

Он стучит по столу, по стульям, свирепо вращает глазами и раздраженно отбрасывает ногой утренние туфли, валяющиеся у кровати.

- Какая погода?.. Отличная!

Это сказано яростным, угрожающим тоном. Его рука словно ищет саблю; он сморкается с таким шумом, как будто разрывается снаряд, а когда он уходит, судорожно сжимая в руках старые газеты, - у него такой вид, точно он спешит с донесением к генералу; иногда он тут же врывается обратно с искаженным лицом.

- В чем дело?

- Там кто-то есть!

Достаточно ему пробыть десять минут, чтобы кавардак стал невообразимым.

Все влезает на стулья, сам он взбирается на ночной столик.

Какие-то невероятные жесты, истерические крики.

Все мы - черт знает что...

Как?.. Я, Вентра, колеблюсь повесить управляющего государственным банком?

- Разве речь идет о том, чтобы его повесить?

- Ну да! А вы только кривляетесь, черт возьми!

Он хочет сегодня же воздвигнуть виселицу для держателя звонкой монеты, который живет только своим бумажником, каналья!

Он изображает казнь. Берет носовой платок, подвешивается на нем на несколько мгновений, в самый напряженный момент издает какой-то звук, рискуя проглотить язык, затем спрыгивает со стола и... снова набрасывается на туфли с бешенством щенка, у которого режутся зубы.

- Да этот человек рехнулся, - говорит Курбе, покуривающий в углу. - Он рассуждает о Прудоне? Я один хорошо знал его. Только мы двое и были готовы в сорок восьмом году. Эй, чего вы там кричите так, черт бы вас побрал!

- Я не кричу, я спокойнее вас, тысяча чертей!

Смешны и несносны эти горластые визитеры, эти заключенные, из которых одни ходят , а другие не ходят , – все эти люди, как-никак получившие образование, все эти воспитанные буржуа.

Иногда рабочий, по имени Толен[68], стыдит их за глупость и дает отпор их мелочным вспышкам. Он серьезнее и осведомленнее их, этот представитель физического труда.

Толен уже завоевал себе имя на публичных собраниях. Он является как бы духовным вождем рабочего класса.

У него узкое лицо, – оно кажется еще длиннее и тоньше благодаря длинной бороде и гладко выбритым щекам, – живой взгляд, выразительный рот, красивый лоб.

Он немножко шепелявит, как и Верморель. Я заметил, что люди, отличающиеся косноязычием Демосфена, невероятно честолюбивы. Но за их детским сюсюканьем скрывается железная энергия людей дела.

Благородная внешность под простым рабочим костюмом.

Я уже видел такую же осанку у одного известного проповедника июньской Варфоломеевской ночи, – у белокурого де Фаллу, который с благодушным жестом и медом на устах спровоцировал страшную бойню.

Может быть, носы их и не одной формы, но в своем представлении я сближаю силуэты этих людей, ибо они кажутся мне очень сходными. В них одно и то же тонкое изящество; та же мягкость речи, тот же ясный взгляд... у этого дворянина и у этого простолюдина.

У него слегка раскачивающаяся походка плебея, но, может быть, это даже умышленно. Если б он захотел, она стала бы плавной, как у дворянина. Сдержанный смех, пронизательный взгляд, заостренный профиль и бородка, которую он постоянно покручивает... Мне кажется, что он только о том и думает, как бы выбраться из простой среды и мрака неизвестности. Этот бывший чеканщик, давно забросивший свои орудия производства, терпеливо чеканит орудие своего честолюбия.

– Собираются даже открыть подписку, чтобы дать наточить его инструменты, – так они заржавели! – заметил один шутник из мастерской.

Но если он боится работы, от которой грубеют руки, то не боится одиноких занятий, долгих вечеров наедине с отцами экономической церкви и с отцами социальной революции. Он купил на набережной труды Адама Смита[69] и Жана-Батиста Сэя[70], проданные букинисту каким-нибудь разорившимся буржуа или опустившимся неудачником. Теперь эти книги вместе с четырьмя-пятью томами Прудона лежат на столе идущего в гору ремесленника.

У него есть пробный камень для всяких ценностей – денежных и идейных, он станет ученым, да он уже и теперь ученый. Он – старший мастер в цехе, где фабрикуется рабочая революция.

Он зарабатывает себе на жизнь, служа приказчиком у торговца скобяными товарами; тот очень гордится, что у него работает такой ученый малый.

У этого эмансипированного плебея есть уже приверженцы.

В этом мирке отвлеченных идей есть один представитель физического труда – Перрашон[71], неутомимый труженик, не расставшийся со своим верстаком. Он чтит, как бога, того, кто стал обладателем книг и пожирает всю эту премудрость. И он подражает ему, копирует его: так же подстригает бороду и волосы, так же застегивает пальто, так же носит шляпу, заламывая ее на ухо или нахлобучивая на лоб.

Как мне кажется, этот Созий[72] является продуктом хитрости моего Фаллу из предместья. Тесемками своего рабочего фартука Перрашон связывает властителя своих дум с народом; иначе тот, пожалуй, с недоверием посматривал бы на его куртку, готовую того и гляди обратиться в сюртук.

Только бы он не перерезал в одно прекрасное утро эту тесьму и не бросил бы блузников, как бросил блузу.

XI

Я задумал написать историю побежденных в Июньские дни. Я разыскал многих из них. Все они очень бедны, но почти все, несмотря на нищету, сохранили свое достоинство. И только некоторые из них, привыкнув к безделью в тюрьмах, взвалили на жен всю тяжесть труда и заботу о прокормлении семьи.

Многие из этих женщин оказались настоящими героинями. Пока отцы были в Дуллане или на каторге, они растили детвору, отказывая себе во всем, лишь бы маленькие граждане не чувствовали ни в чем недостатка; проявляли необычайную изобретательность и мужество в изыскании ремесла, промысла, способа заработать кусок хлеба. И малютки – будущие инсургенты – росли.

Правда, несколько молодых девушек исчезло в том возрасте, когда голубой бант кружит голову, а нищета заставляет дурнеть. Какая скорбь поселяется в мансарде, когда, возвратившись, изгнанник находит там только затасканный и грязный образ ребенка, которого в одно далекое воскресенье он сфотографировал за десять су на ярмарке в окрестностях Парижа. Было чертовски трудно заставить девочку сидеть спокойно; папа должен был по крайней мере раз десять поцеловать ее и просить быть умницей.

И она была ею.

Но вот уже давно она больше не умница, и никто даже не знает, где она находится. Она не решается навестить мать из боязни, что отец набросится на нее.

– Нет, ни за что! – сказала мне одна из них, заливаясь слезами. – Я боюсь, что он расплчется!

Я живу в этом мире блузников и чувствую себя более взволнованным, чем когда-то среди толкователей Conciones[73] в мире античных героев. Их каски, туники и котурны быстро надоели мне.

Но, общаясь с моими новыми товарищами, посещая простых людей, я вдруг почувствовал презрение и к якобинскому хламу.

Весь этот вздор о девяносто третьем годе производит на меня впечатление кучи изодранных, выцветших лохмотьев, какие приносят тряпичнику дядюшке Гро в его открытую всем ветрам лавчонку на улице Муфтар.

Время от времени дядюшка Гро оказывает мне честь, приглашая к себе обедать, и я счастлив от сознания, что меня, деклассированного, любит и уважает этот человек регулярного труда с корзиной за спиной. Он велит прибавить для гражданина Вентра кусок сала в кипящий котелок, от которого так вкусно пахнет среди отбросов реки Бьевры, и говорит хозяйке:

– Нечего экономить, старуха, была бы только похлебка каждый день.

Затем, обращаясь ко мне:

– Жизнь тяжела, это верно, но нас, рабочих, утешает, что образованные люди, вроде вас, переходят на сторону пролетариев. Кстати, обещайте, что, если когда-нибудь мне придется взяться за ружье, которое вечером двадцать четвертого июня я закопал у Гобеленов, вы придете поесть супу на баррикаду, как пришли сюда. Хорошо?

И жена его отвечает с серьезной улыбкой:

– Да, я уверена, отец, что господин будет заодно с несчастными.

Я указал на кусочек красной фланели, показывающей язык из пасти мешка.

– Мы привяжем его к штыку.

– Ах, молодой человек, ведь вся суть не в Марианне[74], а в Социальной[75]. Когда мы дождемся ее, из трехцветных знамен можно будет корпию щипать.

Социальная и Марианна – два врага.

Старики Июньских дней 48-го года рассказывали мне, что, когда к ним в тюрьмы бросили участников 13 июня 49-го года[76], вновь прибывших встретили неприязненными взглядами и грозными жестами, и с первого же дня их разделила стена. Между головами в одинаковых тюремных колпаках происходили жестокие столкновения, хотя на общих церемониях, на похоронах и в дни разных годовщин у всех в петлицах красовалась неизменная пунцовая иммортель.

Непримиримая ненависть существовала между отдельными партиями, и достаточно было любого предлога, чтобы она вырвалась наружу. Из-за плохо огороженного садика, из-за веточки клубники, выступающей за линию камней, образующих границу, из-за настурции, вытянувшейся по стенке между камер двух противников, – по малейшему поводу бросали друг другу в лицо обвинения в неудачах и ошибках революции.

Я многое узнал в кабачке, принадлежащем бывшему заключенному дулланской тюрьмы; там уцелевшие участники восстания собирались в вечера получки или в дни безработицы.

Каждый приходил туда, чтобы высказаться, поделиться впечатлениями о трагических днях, сделать вывод из воспоминаний о зловещей битве.

Лучший говорун этой компании – парень с серыми блестящими и острыми, как сталь, глазами; щеки его точно покрашены, лоб непомерно широк, – как у некоторых актеров, выбривающих его, чтоб придать больше благородства своей наружности, – длинные волосы падают локонами, как у скоморохов и поэтов.

Ему недостает только медного обруча, придерживающего парик акробатов, или венка из бумажных цветов, увенчивающего поэтов на литературных состязаниях.

Никто не сказал бы, что это – бывший столяр, осужденный на вечную каторгу за то, что в своем грубом, повязанном на животе фартуке он искусно возвел на углу Черного рынка баррикаду из камней разобранной мостовой.

Сейчас, когда его ремесло не в ходу, он стал маклером и, если верить ему, понемногу зарабатывает себе на жизнь. Он носит синий сюртук – очень опрятный, но вместе с тем не расстается с картузом.

– Это сохраняет мою шляпу для посещения клиентов, – говорит он. – Да и, кроме того, товарищи, я по-прежнему остаюсь рабочим, странствующим рабочим, вместо того чтобы быть прикрепленным к месту, – вот и вся разница.

– А как Рюо?[77] Давно ты его не видал?

– Нет. Почему ты спрашиваешь?

– Да ты и в самом деле ничего не знаешь: говорят, он был шпиком.

– Поговорим о чем-нибудь другом, друзья, – прервал старый Мабилль. – Все мы оказались бы шпиками, если слушать все, что говорится. Но вот тем, о которых это будет доказано, не мешало бы пустить кровь... чтоб другим было неповадно.

Папаша Мабилль[78] – бывший чеканщик. Среди притупляющего безделья тюрьмы он утратил сноровку своего ремесла и сделался уличным торговцем.

Но в долгие годы заключения он учился по книгам, которые брал у товарищей из соседних камер. Он много размышлял, спорил, делал выводы. Его высокий, изборожденный морщинами лоб свидетельствует о работе мысли. У этого продавца вееров и абажуров – в зависимости от сезона – лицо философа-бойца. Если б на нем был черный сюртук, люди останавливались бы перед этим высоким стариком, почтительно склоняясь перед его величественной внешностью.

«Что он преподает?» – спрашивали бы субъекты из Сорбонны и Нормальной школы.

Что он преподает?.. Его кафедра передвигается вместе с ним. То это столик в маленьком кабачке, облокотившись на который, он призывает молодежь к восстанию; то это взятая на баррикаде бочка, с высоты которой он обращается с речью к инсургентам.

Многие из этих оборванных, чуть ли не умирающих с голоду людей читали Прудона, изучали Луи Блана[79].

И страшная вещь: в итоге всех их расчетов, в конце всех их теорий – неизменно как часовой стоит восстание.

– Нужна еще кровь, видите ли!

А зачем?

Почему эти люди, неизвестно чем существующие, с такими ничтожными потребностями, почему они, похожие на старых святых с длинной бородой и кроткими глазами, любящие маленьких детей и великие идеи, – почему подражают они пророкам Израиля и верят в необходимость жертвы и неизбежность гекатомбы?

Как-то на днях, когда восьмилетняя девчурка обрезала себе палец, здоровенный дядя с волосатой грудью упал в обморок. Нужно было видеть, как вся эта «дичь» государственных тюрем бросилась утешать и целовать ребенка. Один смастерил ей куклу из тряпок, другой купил игрушку за су... Это су было отложено на табак, и он не курил весь вечер. Палец завязали тряпкой, волнуясь при этом больше, чем если бы перевязывали рану искалеченного бойца где-нибудь на перекрестке во время уличного боя.

Парень с острыми глазами задумал книгу. Он пишет; я это подозревал.

– Да, я заносил в тетрадь все, что видел в Тулоне. У меня две тетради, вот таких толстых! Я покажу их вам, если вы зайдете ко мне.

Мы условились о дне встречи.

– Вы увидите мою жену, она дочь Порнена, Деревянной Ноги .

Хрупкое, тоненькое, полное благородства создание, грациозное, смертельно печальное... Безграничная грусть выдает неизлечимое, глубоко спрятанное страдание. Преждевременно поседевшие волосы свидетельствуют о пережитом потрясении; какое-то страшное неожиданное открытие посыпало пеплом эту юную голову, заставило поблекнуть нежное лицо, исполосовало его тонкими, как шелковые нити, морщинками.

Она едва ответила на банальное приветствие мужа, а меня встретила почти с неприязнью.

Я заговорил с ней об ее отце, знаменитой Деревянной Ноге , сыгравшем известную роль в истории февральских событий.

- Да, я дочь Порнена. Отец мой был честный человек.

Она повторила это несколько раз: «Честный человек!» И, опустив глаза и прижимая к груди маленькие ручки, отодвинула свой стул из боязни, как показалось мне, чтобы муж не задел ее, разыскивая свою рукопись по всей комнате.

Наконец, хлопнув себя по лбу, он воскликнул:

- Вспомнил: она внизу!

И он пошел крадущимися шагами, сгорбившись, волоча ногу, неуклюже, но глаза его все время сверкали и пронизывали мрак окутанной сумерками комнаты.

Ставни оставались закрытыми; женщина не распахнула их даже тогда, когда мы вошли, как будто не хотела пролить свет на свои слова.

Пока мы оставались наедине, она произнесла только одну фразу:

- Вы участвуете в заговоре вместе с моим мужем?

- Я не заговорщик.

Она ничего не ответила, и мы молча сидели в темноте.

Он вернулся со своими тетрадями.

- Конечно, это изложено не так, как у профессионального писателя, но здесь много всяких воспоминаний. Используйте их для вашей работы. Но упомяните и мое имя: пусть узнают, что приговоренные к каторге за Июньские дни не были ни такими ужасными невеждами, ни такими страшными злодеями, как их считают.

Она подняла веки и так посмотрела на мужа, что даже я весь похолодел, задетый по пути этим ледяным взглядом. А он, провожая меня, старался заглушить шаги и голос, как это делают в доме, где лежит умирающий или покойник и где нельзя говорить громко.

Я спустился в центр Парижа по безмолвным мрачным улицам, мучимый тревожными мыслями, спрашивая себя, какая драма разыгрывалась между этими двумя существами?

- А, так вы ходили туда, - сказал мне старик, бежавший из дулланской тюрьмы. - Его жена была дома? Молодец женщина! Я видел ее в деле, когда она была еще совсем молоденькой девушкой... крохотная, как мушка, и веселая, как жаворонок. Он даже не заслуживает такого счастья.

- Ну, ясно! Разве ты не знаешь, ведь о нем говорят то же, что и о Рюо, - будто он из шпииков?

- Едва ли! Будь это так, не смотрите, что она такая малютка, - она взяла бы его за усы и, отхлестав по щекам, притащила бы к нам. И передала бы его Мабиллю, чтобы тот пустил ему кровь. Не так ли, Мабилль?

- Да. Если б только ей не было слишком стыдно; а может быть, она его любит... Бывает и так.

В это время кто-то вошел.

- О ком вы говорите?

- О Ларжильере[80].

XII

Ко мне явилось несколько человек и во имя революции потребовали, чтобы я выставил свою кандидатуру в депутаты против Жюля Симона[81].

Я согласился.

Несчастный безумец!

Те, кто думает, что я принял это предложение из честолюбия и желания быть на виду, понятия не имеют о том, как бледнею я и какая меня охватывает дрожь при мысли, что я вступаю в борьбу.

Но раз меня призвали, я не отступлю.

Но что скажу я ему, этому Антуанскому предместью? Как буду говорить с людьми из Шаронны, с блузниками из Пюто? Ведь я могу бросить на весы только едва созревшие теории, которые я даже не имел времени взвесить в своих руках бунтаря.

У меня никогда не было достаточно денег, чтобы купить сочинения Прудона. Я вынужден был брать у друзей разрозненные тома и читать их по ночам.

Хорошо еще, что под рукой была библиотека и я мог время от времени совать нос, а то и погружаться с головой в источники. Но мне приходилось пить залпом, спеша и захлебываясь, ибо на улицу Ришелье я приходил не для изучения социальной справедливости.

Я должен был добывать там из недр книг зерна для своих статей, дававших мне возможность существовать, – статей, которые редактор словаря отказывался принять, если от них несло духом воинственной или плебейской философии. А это случалось иногда, когда мне удавалось хлебнуть из Прудона, – и я ронял тогда красные капли на мою бумагу.

Я не знаю даже половины того, что надо знать, и обречен на позорный провал. Безумец, желающий пойти на штурм старого мира... ученик, готовый восстать против учителя, рекрут, осмеливающийся взять в руки знамя!

Впору отступить, броситься вниз головой с лестницы... как делают беременные девушки, не желающие, чтобы узнали об их позоре...

У меня было сильное искушение поступить так, рискуя изуродовать и искалечить себя: ведь я пострадаю гораздо больше, если заслужу свистки аудитории. Быть раненым – пустяки, но

быть осмеянным – это потерпеть крушение всей своей молодости, правда истерзанной страданиями, но все же полной надежд.

Сегодня вечером первое собрание.

Пытаюсь подготовить речь... Легко сказать! Чтобы сделать это как следует, мне потребовался бы не один час. Довольствуюсь тем, что для предстоящего сражения намечаю в качестве путеводных нитей две-три основные линии и разбрасываю по ним идеи, подобно камешкам Мальчика с пальчик. Я буду следовать по намеченному пути, подбирая эти камешки по дороге к людоеду.

Конечно, не мешало бы мне иметь с собой несколько преданных людей. Но ни Пассдуэ[82], ни участников Июня уже нет. Они скрылись, как только я согласился пойти навстречу опасности; разбрелись по своим кварталам в поисках за другими Вентра.

По жестокой случайности, никто из знакомых не живет в том округе, куда мне приказали идти на смерть, как приказал некогда Наполеон своим лейтенантам расположиться на мосту и умереть там. И, заняв место на скамье императора, я в одиночестве отправляюсь в зал клуба.

Сидя на верху омнибуса, я слышу, как восхваляют достоинства моего противника.

– О, он далеко пойдет! Он превратит Лашо в лепешку.

– У него нет других конкурентов?

– Конечно, нет! Кто же из республиканцев осмелится выступить?

Ах ты, несчастный! Да вот подле тебя сидит скромный малый, который, передавая одновременно с тобой три су кондуктору, уронил клочок бумаги, где записаны первые фразы его выступления против твоего фаворита да еще несколько «эффектных», кричащих, как картинки из Эпиналя[83], приемов, которыми он собирается разукрасить свою речь.

Может быть, даже ты сидишь на моих заметках, попираешь задом мое красноречие.

– Мне нужен номер сто пятый.

– Это здесь.

Я быстро сбегая вниз.

Мой комитет беден, как Иов. Собрание назначено в бывшей конюшне, где с трудом может поместиться человек триста.

Они уже все в сборе.

– Граждане!..

Откуда только у меня бралось все то, что я говорил им? Я сразу перешел к нападению, говорил об отвратительном запахе, о необычности помещения, о нищете, которая делала нас смешными с самого же начала. Я точно срывал эти слова со стен, откуда просачивался лошадиный навоз и где торчали ввинченные кольца, к которым республиканская дисциплина хотела бы привязать и нас, как вьючных животных.

Ну нет!

И я брыкался, становился на дыбы, находя по дороге иронию и гнев.

Раздались отдельные крики одобрения, еще больше раззадорившие меня. Когда я кончил, меня обступили со всех сторон.

Председатель встал.

– Граждане, голосуется предложение выставить кандидатуру Жака Вентра. Руки поднялись.

– Гражданин Жак Вентра избран кандидатом от революционно-социалистической демократии округа.

Приветственный клик трехсот бедняков скрепил торжественно провозглашенную резолюцию.

Мороз пробежал у меня по коже: ведь этот успех ничего не доказывает.

Горсточка приветствовавших меня людей была собрана у порогов беднейших жилищ. Да и мало ли тут таких, которые аплодировали мне лишь потому, что у меня громоподобный голос, или потому, что не хотели вызывать открытого раскола, – и сколько из них покинет меня завтра, чтобы присоединиться к кортежу торжествующего Симона!

Слишком легко досталась мне моя победа. Я чуть ли не касался пальцами всех этих людей, мое дыхание обжигало их лица, а я знаю, что в моих жестах и тоне есть что-то внушительное, действующее на тех, кто стоит так близко ко мне.

Совсем другое дело, когда я окажусь перед лицом врага в громадном, битком набитом зале.

Зал гения

И вот я здесь. Огромный зал переполнен – по крайней мере мне так кажется. Противники мои хорошо подготовились к встрече. А у меня не было времени, и я ничего не приготовил, – ровно ничего. Ни улыбочки вступления, ни хвостика заключения.

Наиболее ревностные из моего избирательного комитета всеми правдами и неправдами заставили меня отправиться по коммунам в погоне за влиятельными лицами. Я бросался туда и сюда, всюду, куда только можно: исколесил весь округ пешком, в омнибусе, в телеге, – больной от всех этих стаканчиков, которые приходилось выпивать перед цинковой стойкой, чтобы чокнуться с честными людьми.

Правда, я только чуть смачивал губы, но тем не менее меня тошнило от вина. Видя, как кисло принимал я угощение, предлагаемое мне от всего сердца, эти люди, конечно, должны были считать меня или очень холодным, или очень гордым.

Единомышленники, которых мы посещали, жили в разных местах и далеко друг от друга; приходилось ловить их то где-нибудь в поле, то вызывать из мастерской, отнимать у них время, подчас компрометировать их в глазах хозяина. Причем случалось иногда и ошибаться на их счет.

Тогда они окидывали меня с ног до головы негодующим взглядом и возмущались, что их могли считать способными помогать мне сеять раскол в партии.

Мелочные волнения, убивающие цвет моей мысли... Изнурительное хождение, во время которого гибли мои идеи.

Ну и дурак я!

Я воображал, что мое жалкое поражение произойдет от того, что я не вооружился целой пачкой доктрин.

Какое там!

Два-три раза мне представлялся случай развить их, суровые и ясные, перед толпой... Но нашли, что я говорю слишком холодно. Они ждали пламенных речей, и даже мои сторонники дергали меня за фалды и нашептывали, что перед такой публикой нужно пустить волчок громких фраз.

Но если когда-то в руках у меня была плеть красноречия трибуна, то сейчас у меня нет больше желания размахивать ею и разбивать хребты чужих речей. Я стыжусь бесполезных жестов, пустых метафор, – стыжусь ремесла декламатора.

Да, черт возьми! Стоило мне захотеть – и я сумел бы вызвать захватывающие образы, которые потрясли бы этих людей. Но во мне нет больше мужества даже желать этого. Вместе с пылом якобинской веры я утратил и буйный романтизм былых дней. И вот эти люди едва слушают меня. Во мне еще нет твердости убежденного социалиста, но нет больше и данных площадного оратора, какого-нибудь Дантона из предместья. Я сам сбросил с себя все это тряпье. Это не падение, а перерождение, не слабость, а презрение.

Однажды в Булони меня чуть было не уколошили.

– Это вы хотите помешать избранию Симона!

Меня окружили, толкали, били.

Я был один, совсем один.

В первый момент я не придумал для своей защиты ничего другого, кроме старой классической формулы:

– В моем лице вы убиваете свободу слова!

– Ну что ж, убиваем! Да еще кулаком по морде! – заорал белильщик с воловьей шеей.

Бюро испугалось, как бы мое избиение не легло пятном на торжество моего конкурента. Да и я слишком погорячился. Мне, во всяком случае, было чем ответить на подобные аргументы: я мог как следует стиснуть белильщика, между тем как во все время кампании этот угорь Симон скользил у меня между пальцев: липкий и увертливый, слащаво-заискивающий, он всячески старался обезвредить яд моих слов.

То была великая минута. Один! Я осмелился прийти один! – Никогда еще я так не гордился собой, как в тот день бесконечного унижения.

В другой раз я почувствовал прилив гордости при выходе из зала собрания, где знаменитость и я выступали перед толпой один после другого.

Я услышал, как один из членов избирательного комитета сказал, указывая на меня:

– Этот уж заставит чернь слушать себя!

Наконец повинность моя кончилась, избирательная кампания позади. Я свободен!

Там, в стороне Шавилля, есть ферма, где я проводил спокойные и счастливые дни, наблюдая за тем, как молотят пшеницу, как плещутся утки в луже; я потягивал там легкое белое вино

под развесистым дубом или валялся на скошенной траве под цветущими яблонями.

Я жажду тишины и покоя. И я иду туда, забывая о выборах в парижских секциях, валяюсь на сене, слушаю кваканье лягушек в зеленых камышах. А вечером засыпаю на грубых холщовых простынях, вроде тех, на какие укладывали меня кузины в деревне.

Деревня!

Да! Я скорее создан быть крестьянином, чем политиканом, крестьянином, готовым взяться за вилы вместе с бедняками в неурожайный год, в голодную зиму.

7 часов утра

Человек с внешностью богатого подрядчика, с толстой золотой цепочкой, в коротких серых штанах и грубых башмаках, явился ко мне, представился как единомышленник и попросил выслушать его.

- Если б вы захотели, то при ваших связях и с вашим талантом...

.....

- Тарди! Тарди!

Тарди - мой старый школьный товарищ, очень бедный, еще беднее меня. Я оплачиваю его каморку рядом с моей комнатой, пропитание же свое он окупает перепиской моих статей.

Я зову его на помощь. Он выскакивает на площадку лестницы в одной сорочке.

- Полюбуйся-ка на этого типа! Он пришел купить меня... и вообразил, что я способен выслушать его, этакий мерзавец!

- Нет, нет, сударь, - бормочет субъект, бледный как смерть, и, спотыкаясь, спускается с лестницы.

- Поживей, а не то я расправлюсь с вами!

- Нет, нет, сударь... - повторяет он, скатываясь кубарем.

Но как они посмели? Кто подослал его?

Расходы по избирательной кампании взял на себя мой комитет, но при содействии одного человека, который, заверив, что хочет послужить делу, предоставил деньги на афиши и

бюллетени.

Надо разыскать того субъекта, вывести его на чистую воду.

Я предупредил товарищей. Они тянули...

- Вы стоите выше этого, - заявили они мне наконец, пожимая плечами.

Я продолжал настаивать.

- Бросьте вы это!

Тем не менее во мне осталось какое-то неприятное чувство, и я боюсь, что за всем этим скрывается опасность, когти которой еще дадут себя знать.

XIII

Я один из десяти выбранных народным собранием, чтобы отправиться с запросом, почти с требованием к депутатам Парижа.

Мильер[84], Тренке, Эмбер, Курне тоже входят в число этих десяти.

К кому пойдём мы в первую очередь? Кого из депутатов атакуем первым?

В маленьком кафе, где встретились члены комиссии, мы разыскали в адресной книге адрес Ферри, – он живёт где-то на улице Сент-Оноре.

– К Ферри!.. Вы, Вентра, из его округа, вы и будете с ним говорить.

Безмолвный, степенный дом, просторный вход, пышная лестница.

Я поднимаюсь с таким волнением, как будто взбираюсь по ступенькам эшафота.

– Здесь...

На наш звонок выходит горничная.

– Дома господин Жюль Ферри?[85]

– Да, дома.

Ноги мои дрожат. Я белее фартука служанки, который, впрочем... не отличается особенной белизной.

– Как прикажете доложить?

Мы переглядываемся. Ни один из нас не пришел лично от себя; но, с другой стороны, мы не выступаем как представители какого-нибудь признанного комитета или определенного республиканского общества.

– Скажите, что пришли люди из шестого[86] и желают что-то сообщить.

– Из шестого? У нас нет шестого этажа!

Объясняем... не без труда. Девушка чего-то боится.

– Плевать я хочу! Мы пришли и не уйдем! – заявляет Тренке и прислоняется к стене, как часовой.

Появляется буржуа в коротеньком пиджаке с вытянутой физиономией.

– Что вам угодно, господа?.. – произносит он, обращая на нас свой мрачный, – и какой еще мрачный! – взгляд.

Голос его слегка дрожит, также и руки.

Короткое молчание.

Надо начинать!

– Вам, конечно, известно, милостивый государь, письмо господина де Кератри, где он предлагает всем депутатам в ответ на декрет об отсрочке открытия Палаты[87] явиться к Бурбонскому дворцу в день и час, когда согласно закону должна была открыться сессия. Народное собрание постановило потребовать от представителей Парижа, чтобы они категорически высказались по этому поводу, и поручило нам добиться их присутствия на заседании, где народ выразит свою волю... Вы придете?

Руки его продолжают дрожать; такой широкоплечий и как будто решительный с виду, он, по-видимому, в замешательстве.

– Я не отказываюсь. Но я должен посоветоваться со своими коллегами. Я поступлю так, как они.

– Мы передадим ваши слова кому следует, – провозгласил я тоном сентябриста[88].

Мы поклонились и вышли.

Теперь на площадь Мадлен.

– Можно видеть господина Жюля Симона?

– Войдите, господа.

Вот он, знаменитый чердак.

Многого о нем не скажешь. Это, конечно, не крысиная нора, но далеко и не дворец, запрятанный под крышу.

У Симона вкрадчивые, кошачьи движения, жесты священника, он закатывает глаза, как святая Тереза в истерическом припадке, на языке у него елей, кожа лоснится, губы сморщены, как гузка рождественского гуся. Он узнает меня и идет навстречу, протягивая пухлые потные пальцы.

– Мой бывший и уважаемый соперник...

Я заложил руки за спину и отошел в сторону, предоставив другим опросить этого субъекта.

Как и Ферри, он отвечает что-то неопределенное – он, мол, тоже явится, если так решит его группа.

На лестнице обсуждается мой отказ от рукопожатия.

Мильер возмущается. В качестве старшего он обвиняет меня в том, что я наношу оскорбления из личного самолюбия, и заявляет, что не потерпит, чтобы следующие посещения нарушались подобными выходками.

Он пойдет теперь к г-ну Тьеру[89], но будет «вежливым», – прибавляет он, глядя на меня.

– Будьте, чем вам угодно! Что до меня, так я оставляю за собой свободу не прикасаться к руке врага.

– Вы прекрасно поступили! – одобряет меня молодежь.

Я поступил так, как мне нравилось. Я не признаю ни за кем, даже за старшим, права распоряжаться моими рукопожатиями.

Но как не пожать лапу этому благодушному толстяку с рыжими бакенбардами, с огромным животом и раскатистым смехом, который, прежде чем я еще успел выставить клыки, жужжит мне прямо в ухо:

– А, ругатель, как поживаете? Вы можете быть довольны, что так здорово разделали нас в вашей «Улице»! Да, нечего сказать!

И, похлопывая меня по тому месту, где полагается быть брюшку, он спрашивает, что привело нас к нему.

– Итак, господа, чего же наконец хочет народ? Может быть, он прислал вас за моей головой? Так, видите ли, у меня есть одна маленькая слабость: я дорожу ею. Знаете... старая привычка...

Его слова и вся его фигура дышат добродушием[90].

У этого пальцы не дрожат, они выбивают на столе мотив песенки «Мамаша Годишон», а голова его вертится на туловище пингвина с легкостью и подвижностью колибри.

- Так вам надо знать, пойду ли я на демонстрацию двадцать шестого?..

- Двое из ваших коллег уже дали свое согласие.

- На это мне, положим, наплевать!..

- Значит, вы не придете?

- Ни в коем случае! Подставлять свою голову, не зная, как повернется дело?.. Да вы с ума сошли, мой милый!

Он смеется, и вы невольно смеетесь вместе с ним, потому что этот по крайней мере хоть не виляет.

- Если Бельвилль[91] победит, - я буду тут как тут. Но втягивать его в это дело насильно, разыгрывать Брута... нет, дети мои, это не для меня! Я ни во что не впутываюсь, не даю никаких обещаний. Нет, нет!

И он щелкает ногтем по зубам.

- Все вы кажетесь мне добрыми малыми и достаточно убежденными для того, чтобы дать разбить себе башку. Я, конечно, преклоняюсь перед такими головушками, но свою прячу подальше... Да! кстати, ругатель, вы мне приписали фразу: «Манюэль[92] был героем, но он не был переизбран». Я этого не говорил, но действительно так думаю... Ну, до свидания! Честное слово, можно подумать, что вы все только и мечтаете о том, как бы поскорее отправиться на тот свет. А я вот цепляюсь за жизнь, - таков уж мой вкус! Да оно и понятно, черт возьми: вы - тощие, я - тучный... Осторожно, там ступеньки! Да, послушайте: если вас упрячут в тюрьму, я принесу вам сигар и бургонского. И какого еще!

Он свешивается через перила и посылает нам всей пятерней звонкий, многообещающий поцелуй.

Пельтан[93]. Голова апостола.

Он и в самом деле пророчествовал. Это - начетчик революции, бородатый миссионер, пропагандирующий республиканскую веру; у него манеры, взгляд и жесты капуцина, члена Лиги[94]. С кропильницей Шабо[95] в руках он изгонял беса из июньских инсургентов и отлучал их через решетки подвала Тюильри. Одержимый, - он вполне искренне считал их мерзавцами и продажными.

Что-то скажет он нам?

Ничего особенного... он тоже должен посоветоваться со своими коллегами. И он простер к нам свои волосатые руки, как бы благословляя нас.

- Аминь! - протянул, гнусавя, Эмбер.

Наш обход окончен.

А Гамбетта?

Гамбетта придумал ангину; он прибегает к ней всякий раз, когда опасно высказывать свое мнение.

Меня не проведешь этим трюком, я знаю, под чью он пляшет дудку.

Но рискованную игру ведут те, кто насмехается над народом. Сейчас у них ангина так, в шутку, но настанет день, когда им перережут горло всерьез.

Жюль Фавр[96] разорвал наше требование, даже не читая, и его толстые губы скривились в гримасу величайшего презрения.

Видел ли Мильер Тьера? - Не знаю. Во всяком случае, если он его и встретил, то не нахлобучил ему на уши его серую шляпу, - уж это наверно!

Бансель[97] в отъезде, в провинции.

Явятся ли они?

Зал Бьет, бульвар Клиши

Они явились.

По расшатанной лестнице поднялись они в залу с голыми стенами, освещенную коптящими лампами и уставленную вместо кресел старыми школьными скамьями.

В глубине, на подмостках, сооруженных из толстых побеленных досок, поставили стол и несколько соломенных табуреток.

Там народные представители будут сидеть, как на скамье подсудимых; с этой плохо обтесанной трибуны совесть предместий голосом нескольких деклассированных, одетых в пальто или куртки, произнесет свое обвинение и будет поддерживать его перед судом, -

судом из пятисот или шестисот человек, чей приговор хотя и не будет иметь силы закона, не станет от этого менее грозным для тех, кого он покарает: перст народа заклеяет их.

Я стою в группе, где страстно разглагольствуют и жестикулируют.

Обсуждают, кого бы предложить аудитории в качестве председателя.

Жермен Касс[98] интригует, упрасивает, бегаёт взад и вперед, – старается быть на виду...

Мильер надел свою самую широкополую шляпу и похож в ней на квакера. С напряженным, горящим под очками взглядом, с сжатыми губами и нервными жестами, он требует для себя этого отличия из уважения к его прошлому и возрасту и обещает, – при этом он жуёт слова, как члены секты аиссуа[99] жуёт стекло, – быть Фукие-Тенвиллем[100] собрания.

Решено предложить его кандидатуру. Вожакам даются соответствующие указания. Один только Касс плачется и ворчит; он охотно вцепился бы зубами в икры Мильера, если бы только посмел. Но какой-то кузнец, услышав, как он скулит, быстро усмиряет его; он затихает и забивается в угол с оскаленной пастью, но с поджатым хвостом.

Вот и они!

Ферри, Симон, Бансель, Пельтан.

Их появление встречают ропотом. Они сразу должны догадаться, что попали во вражеский лагерь. Едва сторонятся, чтобы дать им пройти.

Где они, эти трубачи и офицеры, эти фанфары и этот кортеж, которые обычно сопровождают председателя Палаты; где они, эти швейцары в черном, с серебряной цепью на груди?

Здесь только плохо одетые люди.

Среди собравшихся депутаты Парижа могут заметить социалистов, уже выступавших на публичных собраниях; сейчас они, бледные и решительные, обдумывают обвинительные речи, которые произнесут от имени суверенного народа.

– Мильер, Мильер!

Он готов, и ему остается только сделать один шаг, чтобы занять место за зеленым столом.

– Вы будете выступать, Вентра?

– Нет.

Я недостаточно уверен в себе, да и не пользуюсь таким доверием этого трибунала в блузах, как те, кто каждый вечер приходил поговорить с ними в новые клубы.

Если бы еще не было сказано всего, что нужно, я, может быть, и решился бы. Но я знаю, будет сказано все.

Я вижу это по блеску некоторых глаз, чувствую по трепету, пробегающему по залу, читаю это даже на лицах самих обвиняемых. Они серьезны и вполголоса обмениваются тревожными замечаниями.

- Граждане, заседание открыто!

Сейчас начнется расправа!

Готовь свой гнев, Брион![101] Вооружайся презрением, Лефрансе![102] Пропитай ядом свой язык и ты, Дюкас!

XIV

Брион – Христос, только косоглазый, в шляпе Вараввы. Но в нем нет покорности; он вырывает копье из своего бока и, раздирая до крови руки, ломает терновый венец, оставшийся на его челе, челе бывшего мученика той Голгофы, что зовется Центральной тюрьмой.

Он был приговорен к пяти годам за принадлежность к тайному обществу, но его выпустили на несколько месяцев раньше срока, так как он стал харкать кровью. Вернувшись в Париж без единого су в кармане, он так и не залечил своих легких, но в его изнуренном теле крепко сидит живучая душа Революции.

Проникновенный голос идет из больной груди, как из надтреснутой виолончели. Трагический жест: рука поднята точно для клятвы. Порой его с головы до ног, словно древнюю пифию, потрясает дрожь. Глаза его, похожие на дыры, проткнутые ножом, пронзают закоптелый потолок клубных зал, подобно тому как восторженный взгляд христианского проповедника пронзает своды собора, чтобы устремиться прямо к небу.

Болезни, тюремное заключение не помешали ему заняться изучением великих книг, и он выжал из них весь сок, разжевал самую их сердцевину. Это поддерживает его, как горячая бычья кровь, выпитая прямо на бойне. Он живет своей страстью, – пылкое сердце поддерживает его грудь; из своей болезни он вывел даже целую теорию, и, хотя он не подозревает этого, она является дочерью его страданий и в его устах наводит ужас. «Капитал погиб бы, если б каждое утро колеса его машин не смазывались маслом из человеческой крови и пота. Эти звери из чугуна и стали нуждаются в уходе и наблюдении рабочего».

Ему самому тоже не помешал бы уход за его истекающими кровью бронхами, как не помешали бы его расшатанному организму несколько капель масла, именуемого вином.

Но об этом нечего и мечтать! Он сидит чуть ли не на одном хлебе и воде. Он делает листья к искусственным цветам, а это ремесло сейчас не в ходу. Его орудия производства разрушают остаток его жизни – яд приходит на помощь голоду.

Но другой яд – свет газовых ламп и тяжелые испарения, идущие от массы людей, набившейся в слишком тесных помещениях, – нейтрализует первый: клин вышибается клином. В этой атмосфере Бриона охватывает лихорадка, она электризует его, поднимает над толпой и уносит ввысь.

Как бы то ни было, он живет полной жизнью. Каждый вечер, раздвигая своим красноречием границы настоящего, он за три часа переживает больше, чем иные за целые годы; в своих мечтах он захватывает будущее; больной, он бросает живительные слова легиону рабочих с плечами атлетов и железной грудью, глубоко растроганных при виде того, как этот пролетарий без легких убивает остатки своего здоровья, защищая их права.

Бриона всегда сопровождает товарищ ниже его ростом, одетый в сюртук, какие носят домовладельцы; у него медленная походка, голова всегда немного набок, под мышкой – зонтик.

Он похож – до того, что можно ошибиться, – на человека, который в 1848 году в Нанте поразил меня смелостью своих речей. За эту смелость он поплатился скромной службой, дававшей ему возможность существовать. Его хозяева, задетые и напуганные тем влиянием, какое он приобрел в клубах, дали ему расчет, и он просто, с достоинством, простился с народом.

«Я не могу дольше оставаться среди вас, – сказал он, – я несу крест всех голодающих. Я уезжаю в Париж, там мне, возможно, удастся продать свое время за кусок хлеба... там мне, бедняку, может также представиться случай отдать свою жизнь, если в день восстания потребуется заткнуть собой какую-нибудь брешь».

Несколько времени спустя стало известно, что он принес обещанный дар. Его изрешеченный пулями труп был поднят у подножья баррикады на Пти-Пон – каменной трибуны этого социалиста, загнанного в тупик голодом и нашедшего выход в смерти.

Лефрансе своим желтым задумчивым лицом и глубокими, кроткими глазами напоминает мне этого человека. На первый взгляд кажется, что это смиренный христианин. Но подергивание губ выдает в нем страстность глубоко убежденного человека, а проникновенность голоса – возвышенную душу этого обладателя старомодного зонтика. Горячая, трепетная речь звенит и переливается в порыве гнева; но жесты его просты и скромны, как и его костюм и шляпа, которые ничем не выделяют его из толпы. Его слова не пылают огнем, хотя они и жгут.

Его голова мечтателя почти неподвижна на хилом туловище, стиснутый кулак не потрясает дерево трибуны, своим жестом он не пронзает грудь врага.

Он опирается на книгу, как и в те времена, когда был преподавателем и смотрел за порядком в классе.

Иногда даже в начале его речи кажется, что он дает урок, с линейкой в руках, как настоящий учитель; но стоит ему подойти к сущности вопроса – и он забывает свой педантический тон и становится молотобойцем, выковывающим идеи, которые сверкают и искрятся под ударами его высоко взлетающего молота. Он бьет прямо и сильно. Это самый опасный из трибунов, потому что он сдержан, рассудителен и... желчен.

Желчь народа, огромной толпы с землистыми лицами, проникла в его кровь; она окрашивает его насыщенные фразы, придает его импровизациям звучность медалей из старого золота.

Этот адвокат истекающих кровью страдает революционной желтухой и обладает чувствительностью человека, с которого содрана кожа; уязвленный сам, он язвит других, даже не желая того; он честен и мужествен, и жизнь его так же громко, как и его красноречие, говорит о его убеждениях. Этот Лефрансе – крупнейший оратор социалистической партии.

Дюкас – весь какой-то растопыренный. Он таращит свои круглые глаза; раздвигает острые локти, расставляет заплетающиеся на ходу ноги; широко разевает прорезанный, как щель копилки, рот, откуда вырывается резкий, хриплый голос, звук которого царапает вам не только барабанную перепонку, но и кожу.

– Ты похож на рыжего кота, который пакостит на горячие угли, – сказал ему как-то Дакоста[103].

Он похож также и на кота, царапающего когтями оконные стекла в комнате, где его забыли и где он просидел три дня, изнемогая от голода и бешенства.

Есть что-то двойственное в этом малом с рыжими волосами: он разыгрывает Марата с миной ошеломленного Ласуша[104], проповедует гильотину с жестом марионетки, подражает интонациям Грассо, говоря о «бессмертных принципах», и восклицает: «Ньюф! Ньюф!» – между двумя тирадами о Конвенте.

Сухой, как палка, руки, как спички, ноги, как веретена, весь словно на тонкой железной проволоке, – он кривляется и бренчит, как связка деревянных паяцев у входа в дешевый магазин. А до чего он был смешон в этой роли свирепого шута за столиком кафе, уставленным кружками пива, которые он прибаутками и угрозами отвоевывал у буфетчика.

– Если ты нальешь с пеной, я тебя повешу! А если не принесешь еще две полных кружки – для меня и гражданки, – тебе отрубят голову, когда наступит революция. Утоли же народную жажду, да поживей!

Несчастный хозяин кафе бежит со всех ног, инстинктивно проводя тыльной стороной руки по затылку.

Ньюф! Ньюф!

Но когда «Ньюф! Ньюф!» выступает на собрании, перед народом, – он напоминает Говорящую голову. Он торжественно подымается по ступенькам эстрады, вращая зрачками,

хмуря брови; три волоска его шафранной бородки воинственно торчат вперед. На нем узкий сюртучишко, из которого выпирают его острые кости, и панталоны цвета жженого трута, штопором спадающие на женские ботинки из серого тика. Но его ноги недоноска так малы и сухи, что болтаются и в этих ботинках.

Он прижимает к себе портфель, напоминающий портфель чиновника или учителя городской школы. От долгого пользования черная кожа покрылась белыми пятнами, но тем не менее народ относится к этому портфелю с большим уважением.

Как будто в нем лежат указы революции, постановление об ограничении богачей, смертный приговор спекулянтам и объявления для наклейки на дверях Комитета общественного спасения.

Этот портфель создал ему репутацию сурового труженика, поглощенного своей работой социалистического монаха или методичного террориста. И когда его маленькая фигурка появляется на трибуне и он медленно-медленно раскрывает свою кожаную папку, чтобы достать из нее какую-то заметку, а потом, гнусава, читает ее, как читает священник стих из евангелия, который он собирается толковать, – среди собравшихся проносится шепот: «Тсс!..» Сморкаются потихоньку, как в церкви перед началом проповеди, и правоверные, убежденные, что «все должно быть, как в 1793 году», благоговейно слушают его, косо поглядывая на соседей, подозреваемых в модерантизме.

– Вот этот без колебаний отдаст приказ рубить головы!

Это сказано нарочно для меня... для меня, который, пожалуй, призадумался бы над этим. В зале Денуайе за мной установилась репутация человека, который не стал бы действовать так, как «наши отцы», отступил бы перед крайними мерами и после третьей жертвы предложил бы палачу пойти закутить и выпить.

Но Дюкас поступил бы, как «наши отцы», и, чтобы не пропадало даром время, собственноручно принес бы завтрак на эшафот.

– Да, граждане, только в тот день я по-настоящему исполню свой гражданский долг и сочту себя достойным высокого звания революционера, когда по моему указанию сделают «чик-чик» какому-нибудь аристократу.

И он издает это «чик-чик», сопровождая его сначала жестом забавника-полишинеля, – народу нравятся дерзкие и смешные гримасы, – а затем повторяет это движение с торжественностью исполнителя приговора над Стюартом или Капетом, который обнажает шпагу, опускает ее на королевскую шею и отсекает голову, дотоле священную и неприкосновенную.

Его слова точно лижут нож гильотины, и он оттачивает лезвие на оселке своего жестокого и бичующего красноречия. Как обезьянка, цепляющаяся хвостом за веревку колокола, он хватается, смеясь, за веревку палача.

11 часов вечера

Ну конечно, сказано все, что было нужно сказать. Я почувствовал вдруг, что существует еще одна неизвестная партия, минирующая почву под стопами буржуазной республики, и я предугадал близкую грозу. Непоправимые слова вспыхнули под низким потолком, как зарницы в готовом разверзнуться небе.

Депутаты Парижа покинули зал подавленные и униженные, смертельно бледные перед агонией своей популярности.

XV

10 января 1870 г. [105]

Мы в библиотеке Ришелье.

– Хороши шутки! Ходят слухи, будто Пьер Бонапарт убил своего портного, – говорит хриплым голосом человек в очках, с длинным носом, густой бородой и насмешливым ртом. Зовут его Риго[106].

– Вот это замечательно! Бонапарт – под арестом, и портные не смеют больше требовать уплаты по их «маленькому счетику»... Впрочем, шутки в сторону! Надо узнать, правда ли это, и тогда уж действовать.

– Кто сообщил тебе эту новость?

– Бывший сыщик, уволенный за что-то; он доставляет нам теперь заметки; как бишь его?.. ну, тот, кому заказана книга, разоблачающая префектуру... Ты идешь в «Марсельезу»?[107]

– Бегу!

По дороге к нам присоединяются товарищи.

– Убит вовсе не портной... а один из ваших...

– Кто-нибудь из сотрудников?..

– Да, убит наповал! Идемте все на улицу Абукир.

– А знаешь, Вентра, это, конечно, большое несчастье для нашего приятеля, но зато как хорошо это, черт возьми, для социальной революции.

Будет хорошо. Почин действительно сделал один из наших – Виктор Нуар.

– По-видимому, негодяй всадил ему пулю в грудь, но говорят, что он еще жив.

– Жив?.. Кто идет со мной?

– Куда?

– К Бонапарту!.. В Отейль, в Пасси, я и сам не знаю... словом, туда, куда сегодня утром отправился Нуар... Абенек, дайте нам сто франков.

– Нужны не только деньги, но и оружие! – кричат Эмбер и Марото.

Абенек, секретарь редакции, не особенно одобряет нас.

– Нате, вот пятьдесят франков. Возьмите извозчика, поезжайте туда скорее... Но зачем оружие? Достаточно одной жертвы. Вы можете все погубить, осложнить положение... Оставьте убийство на ответственности убийцы!

– Не оставить ли ему и убитого?

– Кто едет в Отейль, занимайте места!

Мы богаты: пятьдесят серебряных кругляков да десять свинцовых.

Извозничья карета едва плетется. Спускается вечер... на набережной свежее.

– Где вы велели остановиться? – спрашивает извозчик. Он забыл уже, куда его нанимали, и с беспокойством всматривается в печальную даль.

Мы назвали ему какой-то выдуманный адрес, указывающий только нужное направление.

– Вам скажут, когда выедете за заставу.

Приехали.

Никаких следов разыграншейся здесь драмы. Мы опрашиваем одного за другим редких прохожих. Они ничего не знают...

– Где дом принца Пьера?

– Здесь!.. Нет!.. Дальше!..

Наконец замечаем красный фонарь: полицейский участок.

Нечего долго раздумывать, войдем!

– Милостивый государь, мы – сотрудники «Марсельезы». Говорят, что Виктор Нуар...

– Ранен... Да, сударь.

– Опасно ранен?

Он безнадежно разводит руками и исчезает.

Нуар перенесен к своему брату на тихую, мирную улицу в Нейи. Несколько деревьев простирают свои черные обнаженные ветви над новыми домами, от которых веет спокойствием и пахнет известью.

Переулок Массена; это здесь.

К нам выходит старший брат. Наши взгляды спрашивают, его молчание служит нам ответом.

Не говоря ни слова, он вводит нас в окутанную сумерками комнату, где находится покойник.

Он лежит, вытянувшись на нераскрытой постели, его лицо чуть ли не улыбается. Точно большой спящий ребенок. Руки еще в лайковых перчатках, что делает его похожим также и на шафера, прилегшего отдохнуть, пока свадебные гости веселятся в саду.

На нем кашемировые панталоны, купленные в «Белль-жардиньере» для торжественных случаев, – он любил пощеголять; манишка сорочки облегает без единой морщинки его широкую грудь, но в одном месте на ней виднеется синее пятно. Это пятно оставила пуля, проникая в сердце.

– Скажите, агония была страшная?

– Нет, но нужно устроить страшные похороны.

С наших пересохших от волнения губ срываются торопливые, пылкие слова.

– А что, если мы возьмем его с собой?.. Будет, как в феврале...[108] Посадим его на телегу, как тех, расстрелянных на бульваре Капуцинов, и будем ездить по улицам, призывая к оружию...

– Вот это так!

Наши голоса сдавлены рыданием, но тон решителен.

– Захочет ли извозчик везти покойника?

– Он ни о чем не догадается. Мы натянем на него пальто, вынесем его, как больного; спустившись с лестницы, надвинем ему пониже шляпу и внесем в экипаж...

Даже Луи не колеблется и отдает в наше распоряжение своего младшего брата.

Но вдруг нас охватывает страх.

– Не можем же мы вчетвером поднять народ!

И на горе революции мы оказались слишком скромными, – а может быть, просто трусами!

Мы выпустили козырь из рук, не рискнули на эту кровавую ставку.

Мы отправились обратно в город

Смеркалось... И когда мы высунулись из дверцы кареты, чтобы взглянуть еще раз на дом, где лежал наш друг, нам показалось, что он сидит, облокотившись на окно, и смотрит на нас широко раскрытыми глазами.

Это брат его подставлял вечернему ветру свой влажный лоб и покрасневшие веки.

Нам сдавило горло. Они были похожи друг на друга как две капли крови.

В редакции «Марсельезы»

Париж уже знает о преступлении.

Сотрудники безотлучно дежурят в редакции, куда со всех сторон стекаются республиканцы.

Приходит Фонвьель в продырявленном пальто, – пуля пробила ему новую петлицу. Он рассказывает, что видел, как был вытащен из кармана пистолет и наведен на Нуара, как попала в него пуля и он побежал, смертельно раненный, судорожно сжимая руками шляпу.

– А вы? – спрашивают нас.

Мы рассказываем о нашей поездке, о возникшей у нас идее.

– Но где бы вы его положили?

– Здесь!.. – В предместье!.. – У Рошфора! Его жилище неприкосновенно.

Это положение страстно защищается.

– Как депутат он имеет право прогнать ударом шпаги или выстрелом из ружья всякого, кто осмелится перешагнуть его порог. И кто знает? Улица Прованс не так уж далеко от Тюильри!..

А я, я хотел бы даже, чтобы Виктор Нуар лежал сегодня ночью на нашем рабочем столе, как на плитах морга, и чтобы любимцы народа, – будь они в сюртуке или рабочей блузе, – стояли в карауле возле убитого.

- Но для этого надо, чтобы он был здесь.

- Так едем за ним!

Но произнесены уже роковые для революции слова: «Слишком поздно» .

За тем домом, конечно, следят, он окружен теперь.

Мы действовали, как настоящие журналисты...

А между тем представлялся такой прекрасный случай!..

Разве можно во время гражданской войны давать остывать мужеству и смелости! И тот, кто готов бесстрашно поставить на карту свою жизнь, - разве не имеет он права воздвигнуть баррикаду так, как находит это нужным, и отдать ее под команду мертвеца, - если убитый внушает больше страха, чем живой.

Он был гигантского роста и с такой огромной головой, что потребовалось бы по крайней мере двадцать пуль, чтобы раскрошить ее на его геркулесовских плечах.

А пока что - Париж волнуется. В Бельвилле собрание. Большой зал Фоли-Бержер полон негодующего народа.

Над эстрадой траурное полотнище, и под сенью этого лоскута раздаются взрывы ярости против убийцы, назначается боевая встреча у гроба убитого.

«Пора положить этому конец!»

Еще одна фраза, брошенная некогда, в трагические часы, - слова, подобранные в глубинах истории, выкопанные на кладбище инсургентов прошлого, чтобы стать девизом инсургентов завтрашнего дня.

И всюду женщины. - Это знаменательно.

Когда вмешиваются женщины, когда жена сама подталкивает мужа, когда хозяйка срывает черное знамя, развевающееся над ее котелком, чтобы водрузить его на баррикаде, - это значит, что солнце взойдет над охваченным восстанием городом.

12 января

Мы все должны встретиться на похоронах.

Только надо, чтобы похоронная процессия двинулась из редакции «Марсельезы»; чтобы сбор состоялся на той улице, где помещается газета; чтобы взбудораженный квартал наводнили возмущенные демонстранты и чтобы они не двигались в путь, пока не соберутся тысячи.

Кто знает, быть может, этот людской поток увлек бы за собой полки и артиллерию, затопил бы пороховые погреба империи и унес бы Наполеонов, точно какую-то пададь?

Все может быть!

У Одеона

Шествием руководит Риго; как сержант, распекающий рекрутов, как овчарка, собирающая стадо, он выравнивает одних, лает на других.

– По четверо, сомкнутыми рядами! Держитесь строя, черт возьми!..

Раздаются суровые слова:

– Кто с пистолетами – вперед!

И тут же шуточные:

– Трусы в середину!

В хвосте идут те, кто вооружен только циркулями, ланцетами, ножами с металлическими ручками, – последние, впрочем, могут нанести ужасные раны, – полосами стали или железа, спрятанными под рабочими блузами... Ведь в этой колонне Латинского квартала полно рабочих.

Они были соседями студентов и стали их товарищами по тайному обществу «Ренессанс»[109] или по какому-нибудь другому, раскрытому и преследуемому. Они входили в состав социалистических комитетов наряду со сторонниками кандидатур Рошфора и Кантагреля; пили вместе с ними кофе с коньяком в дни выборов, питались хлебом из отрубей в Мазасе.

Риго более уверен в этих ребятах из мастерских, чем в учащейся молодежи. Вот почему он поместил их в арьергарде. Они пинками будут подталкивать центр; пырнут тех, кто попытается бежать.

Рассказывая мне это, он не перестает нюхать табак. Его подбородок испачкан, жилет весь замусолен, ноздри обожжены. Но лицо и взгляд его сияют гордостью.

Он поскрипывает своей табакеркой, точно Робер-Макер[110], но он заставляет меня также – этакий мошенник! – вспомнить и Наполеона, который достает щепотку табаку из жилетного кармана, не переставая диктовать план битвы.

Что и говорить, в нем что-то есть!

Когда он поглаживает револьвер и с таким видом, словно треплет щечку ребенка, приговаривает: «Спи, мое дитяtko, спи», б- а вслед за тем, задорно грозя ему пальцем, прибавляет: «Придется-таки тебе проснуться, постреленок, и поплевать на сипаев»[111], – это успокаивает центр, не допускающий, чтобы можно было так шутить перед лицом настоящей опасности.

Нельзя сказать, чтобы это не нравилось и решительным людям. Они чувствуют, что этот бородатый весельчак в очках одинаково хорошо будет осыпать солдат как пулями, так и бранью и подставит грудь или покажет им свой зад, проявит себя героем или насмешником в зависимости от того, примет ли дело трагический оборот, или выльется в фарс.

По дороге

– Вперед!

В первом ряду выступают пять или шесть молодых людей в пенсне, рассудительных с виду.

Из всей толпы только у одного Риго легкомысленный вид. Да и он, может быть, казался бы серьезнее, если б нарочно не взъерошил волос, не говорил хриплым голосом и если бы для выражения своей точки зрения на духовенство, аристократию, магистратуру, армию и Сорбонну он не усвоил жеста собачонки, которая, подняв заднюю лапку, бесчестит какой-нибудь памятник.

Брейле, Гранже, Дакоста похожи на ученых, испортивших себе глаза над книгами.

Постоянные участники демонстраций недоумевают, почему эти «очкастые» разыгрывают из себя начальников.

Они не напоминают ни Сен-Жюста, ни Демулена, ни монтаньяров, ни жирондистов. Притом некоторые слышат, как они называют дураками и предателями «депутатишек» левой.

Кто эти люди? – Это сторонники Бланки.

Отовсюду маленькими группами или целыми батальонами, как мы, Париж направляется в Нейи. Идут стройными рядами, если собираются человек сто, или взявшись за руки, если сходятся всего четверо.

Это – куски армии, стремящиеся соединиться, лоскутья республики, которые снова склеиваются кровью убитого Нуара. Это зверь, которого Прюдом называет гидрой анархии; он поднимает свои тысячи голов, спаянных с туловищем одной и той же идеей, и в глубине его тысяч орбит сверкают раскаленные угли гнева.

Языки не издают свиста; красный лоскут не шевелится. Нечего говорить друг другу, – все знают, чего они хотят.

Сердца переполнены жаждой борьбы, – переполнены также и карманы.

Если обыскать эту громадную толпу, у нее нашли бы всевозможные наборы инструментов и всякие кухонные принадлежности: ножи, сверла, резак, клинки, воткнутые в пробки, но готовые каждую минуту освободиться от них, чтобы проткнуть шкуру какого-нибудь шпика. Только бы он попался... с ним уж расправятся!

И пусть берегутся полицейские крючки. Если они обнажат сабли, мы зазубрим орудия труда об их орудия убийства.

Для белоручек тоже нашлось дело, и дорогие, изящные пистолеты становятся влажными в разгоряченных, затянутых в перчатки руках.

Порой заостренная, как кинжал, мордочка какого-нибудь из этих инструментов или пасть одного из револьверов выглядывают из-под пальто или из-под плохо застегнутого сюртука. Но никто не обращает на это внимания. Напротив, даже дают понять с гордой улыбкой, что они тоже могут и хотят ответить как следует не только полиции, но и войскам.

Но безмолвствует полиция... Невидимы войска...

Это заставляет меня призадуматься. А вдруг в нас начнут сейчас стрелять откуда-нибудь сбоку, из дома с запертыми дверями и закрытыми ставнями, при первом же крике против империи, вырвавшемся у какого-нибудь пламенного республиканца или брошенном провокатором?

– Тем лучше! – говорит мой сосед, похожий на карбонария. – Буржуазия выползла из своих лавок и примкнула к народу. Теперь она – наша пленница, и мы будем держать ее перед жерлами пушек до тех пор, пока ее не распотрошат, как нас. Тогда она вззоет от боли и первая подаст сигнал к восстанию. Нам останется только ловко овладеть движением и перестрелять всю банду: буржуа и бонапартистов!

Серьезное лицо обращено в нашу сторону, сморщенная рука опускается на мое плечо. Это – Мабиль. Он пришел как раз вовремя, чтобы услышать теорию избиения этого алгебраиста, – теорию, которую он вполне одобряет, кивая своей седой головой.

Я спрашиваю его, вооружен ли он.

– Нет. Лучше будет, если меня убьют безоружного. Сентиментальные люди наговорят много громких и красивых слов о беззащитном старике, убитом пьяными солдатами. Это будет очень хорошо, поверьте мне!.. Ах, если б только пролилась кровь, – закончил он, и его голубые глаза светились кротостью.

– Нам стоит только выстрелить первыми.

– Нет! Нет! Пусть начнут шаспо![112]

Пассаж Массена

Риго, я и еще несколько человек прошли сквозь расступившуюся перед нами толпу.

Она не горда и не обижается, когда ее обгоняют. В часы великих решений она любит, чтобы ее возглавляли живые лозунги, известные ей личности, с именем которых связана определенная программа.

Что происходит?

Какой-то колосс, взобравшись на соломенный стул, словами и кулаками защищает входную решетку от авангарда кортежа.

Это – старший Нуар, тот, что накануне соглашался выдать еще теплое тело своего брата, чтобы зажечь восстание.

Он остыл вместе с покойником.

И сегодня он отказывается выдать гроб Флурансу;[113] бледный, с горящими глазами, тот требует его для нужд революции, с тем чтобы погребальная процессия прошла через весь Париж, – потому что дышлом похоронных дрог можно будет, как тараном, украшенным мертвой головой, пробить брешь в стенах Тюильри.

Эти стены могут рухнуть еще до наступления ночи, если не упустить случай и повернуть в сторону Пер-Лашеза[114] лошадей процессии, стоящих головой по направлению к кладбищу Нейи.

– Как вы думаете, господин Вентра, будут сражаться?

Я не знаю того, кто ко мне обращается.

Он называет себя.

– Я Шарль Гюго... Вы не в ладах с моим отцом (литературные разногласия!), но зато, мне кажется, вы хороши с наиболее энергичными из этих людей. Не могли бы вы оказать мне услугу собрата и устроить меня в первых рядах? Вам это будет совсем не трудно, – ведь вы немножко командуете всей этой толпой...

– Вы ошибаетесь, здесь никто не командует. Даже Рошфора и Делеклюза[115], может быть, сметет сейчас эта людская волна, если вдруг в словах какого-нибудь уличного оратора блеснет ослепляющая молния или просто в этом пасмурном небе неожиданно вспыхнет сноп солнечных лучей... Впрочем, посмотрю...

Что посмотрю? Кого посмотрю?

– Вы за Париж или за Нейи? – спрашивает Брион, хватая меня за рукав; глаза его горят, голос срывается.

– Я за то, чего захочет народ.

Авеню Нейи

Народ не захотел битвы, несмотря на отчаянные мольбы Флуранса и настойчивость нескольких героических натур, которые, пытаясь зажечь этот народ, схватили за узду траурных кляч.

– Редакция «Улицы», вперед! – призывали революционные отряды.

– Не водите этих людей на убой, Вентра!

Неужели вы думаете, что можно кого-нибудь повести на убой, предписать массам быть храбрыми или малодушными?

Они несут в самих себе свою скрытую волю, и красноречие всего мира бессильно здесь!

Говорят, что восстание вспыхивает тогда, когда к нему призывают вожди.

Неправда!

Двести тысяч человек, жаждущих битвы, не послушают командиров, если те крикнут им: «Не ходите в бой!» Они перешагнут через трупы офицеров, если те встанут им поперек дороги, и по их изувеченным телам бросятся в атаку.

Один только Мабилль был прав. Если б какое-то чудо двинуло войска без провокации, если б по чьему-то безрассудному приказу явился полк солдат и затеял перестрелку вокруг этого дома, – о, тогда народным трибунам достаточно было б сказать одно слово, подать сигнал, и

знамя Республики взвилось бы над баррикадами, пусть даже ему суждено было быть изодранным картечью и покрыть своими клочьями тысячи трупов.

Но ни у народа, ни у правительства империи нет особого желания встретиться и дойти до рукопашной у могилы какого-то убитого журналиста, – место не подходящее для победы солдат и слишком тесное, чтобы развернуть на нем знамя социальных идей.

Кто-то подошел и отозвал меня от моей группы.

– Рошфор близок к обмороку. Пойдите взгляните, что с ним... вырвите у него последнее распоряжение.

Я нашел его, бледного как смерть, за перегородкой какой-то бакалейной лавочки.

– Только не в Париж, – проговорил он содрогаясь.

На улице ждали его ответа. Я взобрался на табурет и передал то, что мне было сказано.

– Но вы-то, – крикнул мне Флуранс, – вы-то, Вентра, разве вы не с нами?

Возбужденный, с пылающим взглядом, почти прекрасный в своем отчаянии, он подбегает и чуть ли не набрасывается на меня.

– С вами ли я? Да, если с вами народ.

– Народ решился!.. Смотрите, похоронные дроги двигаются в нашу сторону.

– Ну что ж, идем им навстречу.

– В добрый час! Спасибо и вперед!

Флуранс пожимает мне руку и обгоняет нас. В нем живет вера и сила святого. Он раздвигает толпу своими костлявыми плечами, как рассекает волны океана пловец, спеша на помощь к утопающему.

Вдруг позади начинается волнение, раздаются крики...

Это Рошфор догоняет нас в экипаже. – Что случилось?

В воздухе прозвучал новый призыв:

– В Законодательный корпус!

Я хватаюсь за эту мысль, также и Рошфор.

– В Законодательный корпус! Решено.

Фиакр, направлявшийся к кладбищу, круто поворачивает и едет в сторону Парижа.

Я сел рядом с Рошфором; также и Груссе. И вот, молчаливые и задумчивые, мы катимся неизвестно куда.

Потихоньку, про себя, я думаю, что если нам удастся добраться до Палаты, она будет захлестнута толпой и нам придется присутствовать при новом 15 мая[116], совершенном двумястами тысяч людей, четвертую часть которых составляют буржуа.

Да, их действительно тысяч двести!

Высовывая голову из экипажа, мы видим, что шоссе запружено народом и волнуется, точно русло бурлящего потока.

Еще спрятаны пистолеты и ножи, но извлечено уже из тысячи грудей оружие «Марсельезы».

Земля дрожит под ногами толпы, которая точно отбивает такт; а припев гимна взлетает высоко к небу.

– Стоп!

Дорогу нам преграждают солдаты.

Рошфор выходит из экипажа.

– Я – депутат и имею право пройти.

– Нет, вы не пройдете.

Я бросаю взгляд назад. Во всю длину улицы вытянулась процессия, сбившаяся, нестройная. Было уже поздно, все много пели, устали...

День окончен.

Подле меня семенит мелкими шажками маленький старичок; он один, совсем один, но, я вижу, его провожает глазами целая группа, среди которой я узнаю друзей Бланки.

Этот человек, пробирающийся сейчас вдоль стены, пробродил весь день по краям вулкана, всматриваясь, не взовьется ли над толпой пламя восстания – первая вспышка красного знамени.

Этот одинокий маленький старичок – Бланки.

– Что вы здесь делаете?

Я так и прирос к месту, пораженный внезапной тишиной и безлюдьем.

– Вы хотите, чтобы вас схватили, – проговорил художник Лансон, уводя меня прочь.

На площади мы столкнулись с товарищами; измученные, забрызганные грязью, они шлепали по лужам, оставшимся после дождя.

Мы пообедали вместе в какой-то жалкой харчевне.

Некоторым из нас был дан совет не ночевать дома.

Художник увел меня к себе.

Но они не осмелились арестовать ни одного человека, довольные тем, что накануне не произошло никакой стычки.

Дурной симптом для империи! За недостатком солдат она не послала шпигов. Она колеблется, выжидает, ее дни сочтены. У нее тоже пуля в сердце, как и у Виктора Нуара.

XVI

15 июля [117]

Берегитесь крови!

Она нужна им, они хотят войны! Нищета наступает на них, вздымается волна социализма.

Простой народ страдает всюду: на берегах Шпрее так же, как и на берегах Сены. Но на этот раз у страдающего народа нашлись свои защитники в блузах, стало быть пора устроить кровопускание, чтобы соки новой силы вытекли через рану, чтобы возбуждение масс разрядилось под грохот пушечной канонады, как разряжается, уходя в землю, смертоносный ток при ударе грома.

Победят они или будут побеждены, но народный поток, натолкнувшись на щетину штыков, будет разбит о зигзаги побед и поражений.

Так думают пастыри французской и немецкой буржуазии, дальновидные и предусмотрительные.

Впрочем, красные штаны и компьенские стрелки ничуть не сомневаются в победоносном шествии французских войск через завоеванную Германию.

На Берлин! На Берлин!

На одном из перекрестков со мной чуть было не расправилась воинственно настроенная ватага, когда я вздумал высказать ей весь свой ужас перед этой войной. Они обозвали меня пруссаком и, вероятно, разорвали бы на части, не назови я себя.

Тогда они отпустили меня... не переставая ворчать.

- Этот хоть и не из таких, но он тоже не лучше. Они не верят в родину, в братство и в дружбу, им плевать на то, что державы Европы оскорбляют нас.

Пожалуй, мне действительно наплевать на это.

Не проходит ни одного вечера без бурных диспутов, которые неминуемо кончались бы дуэлью, если б сами нападающие на меня не считали, что нужно беречь шкуру для неприятеля.

И часто самыми яркими шовинистами в наших спорах оказываются наиболее передовые, старики 48 года, бывшие бойцы. Они бросают мне в лицо эпопею четырнадцати армий[118], подвиги майнцского гарнизона[119], волонтеров Самбры и Мааса и 32-й полубригады. Они забрасывают меня деревянными башмаками мозельского батальона, тычут в глаза заслугами Карно[120], султаном Клебера.

Мы взяли полосы материи и, написав на них обмакнутой в чернила щепкой: «Да здравствует мир!» – ходили с ними по всему Парижу.

Прохожие набрасывались на нас.

Среди нападающих были агенты полиции, но они не подстрекали толпу. Они довольствовались тем, что выслеживали людей, на которых обрушивался гнев толпы, и тогда они выбирали среди них тех, кого знали как участников какого-нибудь заговора, кого видели на собраниях, в день демонстрации на могиле Бодена[121] или на похоронах Виктора Нуара. И как только человек был намечен, свинцовая дубинка и кастет расправлялись с ним. Боэра[122] чуть не убили, другого сбросили в канал.

Порой меня охватывает постыдное раскаяние, и я испытываю преступные угрызения совести.

Да, сердце мое переполняется сожалением, – сожалением о принесенной в жертву юности, о жизни, обреченной на голодание, о моей попорченной гордости, о моей будущности, загубленной ради толпы. Я думал, что эта толпа наделена душой, и мечтал посвятить ей когда-нибудь все свои мучительно накопленные силы.

И вот теперь эта толпа следует по пятам за солдатами. Она идет в ногу с полками, приветствует радостными кликами офицеров, на чьих погонах еще не высохла декабрьская кровь, и кричит: «Смерть!» – нам, желающим заткнуть корпией раструбы сигнальных рожков.

Это самое глубокое разочарование в моей жизни!

Среди всех унижений и неудач я хранил надежду на то, что настанет день – и народ отомстит за меня... И вот этот самый народ только что избил меня[123], как собаку. Я весь истерзан, и в сердце моем бесконечная усталость...

Если б завтра какой-нибудь корабль согласился взять меня к себе на борт и увезти на край света, я уехал бы, стал дезертиром из чувства отвращения, отщепенцем всерьез.

– Но разве вы не слышите «Марсельезы»?

Она внушает мне ужас, ваша теперешняя «Марсельеза». Она стала государственным гимном. Она не увлекает за собой волонтеров, она ведет войска. Это не набат подлинного энтузиазма, это – позвякивание колокольчика на шее прирученного животного.

Какой петух возвещает теперь своим звонким «ку-ка-ре-ку» выступление полков? Какая идея трепещет в складках знамен? В 93-м году штыки поднялись от земли с великой идеей на острие, как с огромным хлебом:

День славы наступил!!!

Да, вы увидите это!

Площадь Бурбонского дворца

В день объявления войны мы все трое – Тейс, Авриаль и я – отправились к Законодательному корпусу.

Ярко светит солнце, мелькают красивые женщины в нарядных туалетах, с цветами на груди.

Вот лихо подкатил военный министр или какой-то другой; новая коляска, лошади в серебряной упряжи.

Точно какой-то придворный праздник, торжественная церемония, молебен в Соборе богоматери. В воздухе носится аромат пудры и цветов.

Ничто не выдает волнения и страха, которые должны сжимать сердца при известии о том, что родина готова обнажить меч.

Слышатся приветственные крики... «Ура!»

Жребий брошен, – они перешли Рубикон!

6 часов

Мы пересекли Тюильрийский сад молча, в полном отчаянии.

Кровь бросилась мне в лицо и грозила залить мозг. Но нет! Эта кровь, которую я обязан отдать Франции, вышла самым нелепым образом через нос. Увы, я обкрадываю родину, наношу ей ущерб; кровь все идет, идет не переставая.

Лицо и пальцы у меня совершенно красные, носовой платок имеет такой вид, как будто им только что пользовались при ампутации, и прохожие, возвращающиеся в приподнятом

настроении от Бурбонского дворца, сторонятся меня с жестом отвращения. А между тем они же сами приветствовали постановление, обрекающее нацию исходить кровью из всех пор.

Вид моего похожего на томат носа неприятен им... Шайка сумасшедших! Пушечное мясо!

– Не мешало бы ему спрятать свои руки! – бросает с безгливой гримасой какой-то бородач, только что кричавший во все горло.

Я умываю лицо в бассейне.

Но тут вмешиваются мамыши.

– Какое он имеет право пугать лебедей и наших крошек? – раскричались они, созывая своих малышей, из которых трое или четверо были наряжены зуавами.

Красный Крест

Все журналисты забегали. Каждый хочет вступить в армию.

Организовали санитарный батальон. Все, кто пробыл хотя бы недолго на медицинском факультете, все, у кого завалось в кармане какое-нибудь старое свидетельство, – все обращаются к некоему доктору-филантропу, подающему хирургию под женевским соусом[124]. Он придумал какой-то черный костюм стрелка или туриста в трауре, и все записавшиеся имеют в нем не то монашеский, не то похоронный вид.

Я только что видел, как они выходили из здания министерства промышленности. Сержант, шедший во главе, – секретарь редакции «Марсельезы», тот самый, что в день убийства Виктора Нуара соблаговолил дать нам немного денег, но наотрез отказал в пистолетах. Этот славный малый, воинственный, как павлин, важно выступал с ворохом амуниции, нацепленной за его спиной наподобие распущенного веером хвоста.

В этих санитарных отрядах, которые только что отправились, сбиваясь с ноги, на поля сражения, много искренне преданных делу людей, но сколько там также романтиков и комедиантов!

Сады и скверы полны людей, одетых наполовину в штатское, наполовину в военное. Их разбивают на взводы и заставляют бегать, топтаться на месте, образовывать каре, круг...

– Против кавалерии скрестить штыки! Защищайся от пехоты! Сохраняйте расстояние в пять шагов... Уберите локти!.. Девятый, вы выдаетесь из строя!.. Левой, правой! Левой, правой!

И локти убраны, и девятый подобрал свое брюшко...

Левой, правой! Левой, правой!

Ну, а дальше что?

Неужели вы думаете, что в разгар сражения где-нибудь на лугу, в поле или на кладбище, когда вдруг неожиданно повстречаешься с неприятелем, эти дистанции будут соблюдены и штык будет действовать с размеренностью метронома?

Каждый день по направлению к вокзалам двигаются целые отряды, но это скорее шумные, разбегающиеся во все стороны толпы, а не дефилирующие войска. Они катятся, как огромные волны, и бутылки торчат из их мешков.

А я... по охватившему меня волнению я чувствую, что поражение уже сидит на крупах лошадей кавалеристов, и не жду ничего хорошего от всех этих фляжек и котелков за спиной пехотинцев.

Они идут, словно на какой-то пикник... Боюсь, как бы дождь из ядер не попал в их суп, пока они будут чистить картошку и лук.

От этого лука поплачешь!

Никто не слушает меня.

То же самое было и в декабре, когда я предсказывал поражение. Мне отвечали тогда, что я не имею права обескураживать тех, кто захотел бы сражаться.

Сейчас мне кричат: «Вы – преступник и клеветаете на родину!»

Еще немного – и меня, пожалуй, отведут в штаб как изменника!

Вандомская площадь

Меня и в самом деле препроводили туда, схватив во главе кучки людей, приведенных в отчаяние подлинными поражениями, взбешенных вымышленными победами и горланивших: «Долой Оливье!»

Меня узнали, указали другим и выдвинули вперед. Это была большая честь, но зато какую я получил взбучку... Тут было все: и удары сапогом в спину, и эфесом шпаги по ребрам... Били и приговаривали: «Ну, двигайся же, бунтовщик!»

Десять человек поволокли меня в штаб национальной гвардии.

- Шпион! Шпион! – ревели мне вдогонку.

А когда я крикнул в ответ: «Дураки!» – несколько буржуазных штыков принялись оспаривать друг у друга удовольствие проткнуть меня; но лейтенант, командующий постом, вырвал меня из лап солдат.

Он знает меня, он видел карикатуру, где я изображен собакой с привязанной к хвосту кастрюлькой.

- Как! Это вы!.. Но ведь вы – тот молодец, которого я ищу! Вас-то мне и надо! Они чуть было не распотрошили вас?.. Сорвалось!.. Но они все равно способны сослать вас в Кайенну![125]
Да, да!

Он прав. Из министерства юстиции поступил приказ передать меня жандармам.

Четыре черных силуэта обступили меня, и мы двинулись в путь, как китайские тени.

Наши шаги гулко раздаются в ночной тиши; полуношники подходят и глазают на нас.

Остановка в полицейском участке. – Допрос, обыск, заключение в кутузку.

Нарочный привозит распоряжение о переводе меня в арестный дом.

Я устало опустился на деревянные нары, между нищим с кульпяками, растравляющим свои язвы каким-то снадобьем, и человеком с интеллигентным, но совершенно растерянным лицом. Увидев, что я сравнительно прилично одет, он придвинулся вплотную ко мне и тихо, сквозь сжатые зубы, чуть не задыхаясь, зашептал:

- Я – скульптор... Я не успел намочить глину... Не дал поесть кошке... Я шел купить ей печенки... меня схватили с республиканцами...

У него захватило дыхание.

- А вы? – с трудом вымолвил он.

- Я не шел за печенкой... У меня нет кошки, у меня есть убеждения.

- Как ваше имя?

- Вентра.

- Ах, боже мой!

Он отодвигается, закутывается в свое пальто и прячет голову, как страус.

Но скоро он высовывает ее и дрожащим голосом, почти касаясь моего уха, шепчет:

- Когда придут полицейские, сделайте вид, что не знаете меня, хорошо?

- Да, да! Спокойной ночи! Эй вы, калека, уберите-ка ваши крылышки!

Утро. На скульптора жалко смотреть.

Его допрашивают первым.

- Я ничего не сделал... Я шел за печенкой для кошки... Я - скульптор... Я не намочил глину... Меня освободят?.. Я стою за порядок...

- За или против - нам наплевать! Уведите его!

Я - стреляная птица.

Тюремный сторож догадывается об этом, и мы с ним болтаем по дороге в камеру.

- Вы уже сидели здесь?.. Я это сразу понял! Вместе с Бланки? Делеклюзом? Межи?..[126] Я знаю всех этих господ... Употребляете? - И он протягивает мне табакерку.

Мне разрешили выйти подышать свежим воздухом.

Правда, я по-прежнему меж четырех стен, но зато под открытым небом.

Какой-то шум отвлекает на минуту тюремщиков, и они бросают заключенных на полдороге.

Какой-то человек подходит ко мне и трогает меня за плечо... Нет, это не человек, а какой-то призрак, выходец с того света!

- Вы не узнаете меня?

Мне кажется, что я действительно видел уже где-то этот потертый сюртук, болтающийся, как пустой мешок.

- Я скульптор.

- Да, помню... глина... кошка... печенка...

- Как вы думаете, что они сделают с нами?

- Расстреляют.

- Расстреляют!.. Нас!.. А между тем у меня там кое-что было!

- Где это?

- Разве я вам не сказал своего имени?

- ?..

- Я Франсиа.

Франсиа! Вот тебе на! Ведь это ему было поручено извять статую воинствующей Республики с обнаженной шпагой в руке.

Я все жду, что меня вызовут на допрос, жду с мучительным беспокойством.

Один из сторожей сообщил мне по секрету, что на днях перед зданием Палаты была бурная демонстрация.

Он утверждает, что сегодня после полудня будет еще одна во главе с Рошфором; его должны выволить из тюрьмы Сент-Пелажи.

У следователя

- Милостивый государь, вы обвиняетесь в подстрекательстве к гражданской войне.

Хочу объяснить, но чиновник останавливает меня взглядом и жестом.

- За то время, что вы находитесь здесь, милостивый государь, великие бедствия постигли Францию. Она нуждается во всех своих сынах. Лицо, приказавшее арестовать вас, просит меня теперь открыть перед вами двери тюрьмы. Вы свободны.

Он сказал это совсем просто, и голос его задрожал при словах «великие бедствия».

Я вышел из дома заключения еще более печальный, чем вошел туда.

Я подбежал к афишам. Эти огромные белые плакаты, расклеенные на стенах, испугали меня: я словно увидел бледный лик моей родины.

Что там такое?..

Признайся, Вентра, что в глубине души ты был скорее несчастен, чем доволен, узнав, что император одержал победу. Ты страдал, поверив слухам о победе, почти так же, как горбун Наке[127], которого это заставило плакать от злости.

И вот облачко заволакивает твои глаза, на них показываются слезы.

Двое суток провел я, сосредоточив все свои мысли и чувства на известиях оттуда ,
прислушиваясь к эху далекой канонады и к шуму улицы.

Все тихо.